

---

---

# БЕДНОСТЬ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## I. РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОНЫ НАШЕЙ БЕДНОСТИ

Бедна наша литература, и скудно наше умственное развитие:

Es ist eine alte Geschichte,  
Doch bleibt sie immer neu<sup>1</sup>.

Эта старая песня нет-нет да и отзовется у нас особенно громко, как будто что-то новое. Непонятною для нас самих силою держится Русь, с непонятною для нас самих крепостию выдерживает она разные испытания и делает успехи и приобретения. И при каждом таком случае, при каждом испытании, при каждом успехе в нас болезненно пробуждается сознание нашей духовной несостоятельности, и мы восклицаем: «Как мы бедны мыслью и духом!»

Мы чувствовали себя почти польщенными, когда, по случаю наших успехов в Средней Азии, какой-то английский журнал заметил, что нужно радоваться нашим приобретениям в этих диких странах, ибо, де, русские все-таки народ цивилизованный и приносят порядок и мир в эти дикие населения. Во время последнего польского восстания долго мы перебирали оружие нашего духовного арсенала, как выражался один журнал, и остались весьма недовольны его скудостью. Вот и теперь приезд к нам славян и успехи нашего языка и нашего влияния в славянских землях опять возбудили в нас стыд и смущение. Газета «Москва» уже не один

раз напоминает нам, что мы должны печалиться и чувствовать себя униженными. Почему Россия и русский язык так притягивают славян? Что мы для них? «Многочисленное племя, — отвечает «Москва» (см. 1867 г. № 86), — независимая держава, внешняя сила, возможность вещественной защиты от угнетений — и только!» «Но где же самостоятельное притяжение, которое должен был оказывать наш язык на соплеменные народности в силу своего исторического призвания?» «Нравственно покорить может только внутреннее содержание языка, духовная жизнь, в нем проявляющаяся, отражение в нем общественных нравов, науки, искусства, словом — литература. Итак, какой печальный приговор над нашей литературой произносится настоящими событиями, а с тем вместе какой приговор произносится и над всею жизнью, в ней отражаемую! Какой урок, какое предостережение дается нам на будущее время!»

Итак, и радость нам не в радость, а в стыд, лестное, по-видимому, событие не подымает нашей народной гордости, не прибавляет нам самоуверенности, а, напротив, наводит уныние... Явление, над которым стоит остановиться. Нельзя сказать, чтобы оно было слишком просто, чтобы мы вполне ясно понимали его источники и хорошо видели, к чему должны нас вести подобные печальные настроения.

Нет сомнения, важную роль играет здесь та постоянная потребность самоосуждения, самообличения и даже самооплевания, которая составляет одну из черт русского характера. Самодовольство и самовосхваление для нас нестерпимы: напротив, для нас составляет приятное препровождение времени всячески казнить самих себя, не давать себе ни в чем пощады, прилагать к себе самые высокие требования. Малым нас не удовлетворишь; шаг за шагом мы идти не умеем; подавай нам все сразу, а не то мы и слушать и смотреть не станем. И так как за маленьким гоняться не стоит, а большое не так-то легко дается, то мы и предпочитаем сидеть сложа руки и — ругаться.

Куда нас приведет подобное настроение, это один Бог ведает. Требовательность к самому себе, недовольство собою — конечно, черты прекрасные, подающие хорошую надежду. Но оставим эту таинственную точку зрения, с которой особенность народного характера может быть истолкована равно и в хорошую и в дурную сторону. Возьмем дело с точек зрения общих и простых.

Чувство нашей духовной несостоятельности еще не есть доказательство такой несостоятельности. Оно ведь прежде всего свидетельствует только, что мы не можем рассмотреть, состоятельны мы или нет. Может быть, мы вполне состоятельны в духовном от-

ношении; русскому человеку хочется в это верить; даже, в сущности, он не может этому не верить, если не желает лишиться всякой опоры для своей мысли и деятельности. Но вполне достоверно то, что мы не сознаем этой состоятельности и, если она есть, не умеем ни видеть ее ясно и отчетливо, ни выражать ее определенно и твердо.

Итак, первая наша бедность есть *бедность сознания* нашей духовной жизни. Мы одинаково не знаем ни ее дурных, ни ее хороших сторон, и осуждаем ее огулом, без разбора. Драгоценнейшие черты этой жизни, прекраснейшие ее зачатки для нас неясны и потому все равно что не существуют.

Сколько было писано, например, по польскому вопросу! Казалось, все стороны его были взвешены и разобраны. А между тем, едва ли сделались ходячими и прочно утвердились в наших умах те черты его, в силу которых видно, что польское дело решено историею в нашу пользу вследствие нашего нравственного превосходства над поляками, а не вследствие одного перевеса внешней силы. Еще недавно, на славянском съезде, каким ярким и неожиданно-решительным показался простой аргумент князя Черкасского: пусть поляки в Галиции сделают для крестьян то, что русские сделали для польских крестьян в Польше!

Легко видеть, что из недоверия к своей духовной жизни, из сомнений в ее состоятельности должны возникать некоторые печальные следствия. Необходимо возникает пренебрежение к ее явлениям, высокомерное и невнимательное отношение к ним. Что бы ни совершалось вокруг нас, какие бы формы ни принимала та трудная, глубокая и медленная борьба, которая называется жизнью, мы ничего не достаиваем полного внимания, все считаем пустяками. Презрительно смотрим мы на движение, вокруг нас совершающееся; ни к чему у нас нет теплого, живого участия. Таким образом, вторая наша бедность есть *бедность уважения* и *беспристрастия*, совершенная потеря способности ценить явления по их достоинствам; а на место ее нам дана одна способность пренебрегать и осуждать.

При этом обнаруживается почти полный недостаток *чувства собственной ответственности*, того чувства, которое одно может быть плодотворно при таком положении вещей. При мысли о нашей духовной бедности, казалось бы, каждому должна приходиться на ум его собственная духовная бедность; казалось бы, каждый должен был смиряться и употреблять все усилия, чтобы накопить кое-какие богатства и уйти от общего приговора. Но ничуть не бывало. Роль судьбы так легка и соблазнительна, что все лезут в судьбы, и эти судьбы забывают, что они в то же время и подсуди-

мые. Никто не припоминает предложения, некогда посрамившего строгих судей: «Кто из вас без греха, тот пусть бросит первый камень»<sup>2</sup>. Невозможно иногда надивиться при виде того, из каких туч летят у нас камни и громы. Не люди, богатые духовными силами, укоряют других в бедности и бездействии, а, напротив, беднейшие из бедняков подымают хулу на тех, кто еще кой-что имеет и кой-что делает.

Таким образом, чувство нашей духовной бедности, при обыкновенном ходе дела, порождает у нас явления, не подстрекающие и усиливающие наше развитие, а, напротив, такие, которые его задерживают и подавляют. По евангельской притче о талантах, всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отыметя и то, что он имеет. Будучи бедны духовною жизнью, мы, в то же время, оказываемся бедными ее сознанием, уважением к ее явлениям и чувством собственной ответственности.

Дело будет яснее, если мы приложим эти суждения к более определенному предмету. Заговорив о нашем духовном бессилии, «Москва», в частности, коснулась нашей литературы, и вот какими чертами характеризует она ее бедность (см. 1867 г., № 97).

«Приступит славянин к нашему письменному богатству — что же он найдет? Два-три истинно великих художника; два-три писателя с порывами к истинно самостоятельному мышлению; несколько дельных исследований — больше из диссертаций, обеспечивающих вступление в профессию; несколько произведений из жанра, вроде рассказов г. Успенского и отчасти драм самого г. Островского — этих попыток дагерротипировать уродства быта и речи и возвести карикатуру в перл создания. Затем довольно переводов, не отличающихся верностью подлинникам; еще более беллетристических произведений, не отличающихся дарованием, наконец, творения Белинского, Чернышевского и tutti quanti — недоваренные объедки чужих мыслей. И только. Академия издает свои труды на французском и немецком; университеты с благодарной экономией остерегаются давать публике, пропорционально числу своих профессоров, хотя бы двадцатую долю того, что дают пропорционально числу своих деятелей заграничные университеты. Словом, наука даже не в детстве, а в младенчестве; не может до сих пор покончить спор даже о том, с чего должно *начинать учиться*; публицистика не в авантаже<sup>3</sup> обретается... Немного и непривлекательно...»

Затем «Москва» начинает мечтать, что будет, если русская речь, как теперь можно надеяться, получит в славянских землях полное гражданство и русский язык распространится в населении этих земель.

«С тем вместе, — говорит «Москва», — разовьется и русская письменность, но разовьется там. Оттуда будем мы получать увесистые волюмы самостоятельных научных произведений; там будут лучшие органы самостоятельной периодической печати; там явятся блестящие беллетристические произведения; словом, там будут наши и мыслители, и публицисты, и поэты. Мы окажемся в хвосте, в положении Бельгии относительно Франции; и самый наш язык, по неизбежному закону, подчинится влиянию наиболее деятельной среды. Вместо того, чтобы наложить свою печать на другие племена, мы будем обречены понести на себе чужой отпечаток, и стихи Пушкина вместе с его прозой нами же самими будут отнесены в разряд ученических попыток, не достигших умения владеть вполне образованною речью!»

Сделаем сперва оговорку.

Мы вовсе не хотим, что называется, *отделать* «Москву» за легкость ее мнений относительно русской литературы вообще и Пушкина в особенности. В настоящем случае нас нимало не обуревают полемический задор. Притом легкая газетная заметка, вызванная текущими событиями, не может быть обсуждаема как обстоятельное, отчетливое мнение; да в ней нет и той определенности, с какою выразилось бы подобное мнение. Признаемся откровенно: мы просто придираемся к случаю, чтобы поговорить о предмете, сильно нас интересующем.

Прежде всего в словах уважаемой нами газеты, конечно, следует видеть выражение того высокомерия и невнимания, с которым славянофилы всегда смотрели на нашу литературу — высокомерия и невнимания, давно заявляемого и всем известного. Источник этого пренебрежения также известен. Все знают, как высоко ставят славянофилы русский народ, какие великие ожидания они на него возлагают, какие огромные силы ему приписывают. И вот именно в силу этих великих ожиданий и требований наше настоящее умственное движение является им мелким и скудным. Славянофилы не верят в нигилистический переворот Петра; они думают, что Россия крепка и живет все еще старыми началами, на которых складывалась и развивалась ее прежняя жизнь. И вот именно из-за этого уважения к прошедшему, из желания придать больший смысл и большую цельность русской истории они недоверчиво смотрят на явления нового времени.

Но мы не будем останавливаться на этих особенных взглядах, не станем рассматривать того, настолько ли правильно делается приложение их к русской литературе, насколько они верны в своих основах. Возьмем дело проще, с обыкновенных точек зрения.

В приведенных нами словах «Москвы» есть факты, поразительно обнаруживающие нашу умственную бедность. И, во-первых, слова эти, конечно, еще не всякому вполне докажут скудость и слабость нашей литературы; но несомненно доказывают они скудость и слабость нашего понимания своей литературы; из них ясно, что мы не знаем своей литературы, что у нас не выработано прочных, ясных понятий о тех, хотя бы и скудных и неблистательных, явлениях, которые составляют эту литературу. Сопоставление г. Островского с г. Успенским и Белинского с Чернышевским, сопоставление лукавое, сделанное по той же манере и с теми же целями, какие в сильном ходу в наших юмористических журналах, представляющее явное подражание тому остроумию, которое так часто сводит на одну доску г. Аксакова и г. Аскоченского<sup>4</sup>, г. Каткова и г. Скарятин<sup>5</sup>, подобное сопоставление в таком серьезном органе, как «Москва», — факт достопримечательный. Оно показывает, что даже самые крупные явления нашей литературы не получили надлежащей оценки, не разграничены, не выяснены в своем значении. Газета «Москва» в приведенных словах как будто делает следующий вызов: а нуте-ка, покажите нам, какое различие между вашим хваленым Островским и г. Успенским, между прославленным Белинским и г. Чернышевским?

Бедная литература! Бедная критика! Ни одного твердо сложившегося мнения, ни одного общепризнанного авторитета! У славянофилов и у западников мы везде находим одинаковое незнание нашего умственного и художественного движения. Один журнал ссылается на Белинского как на столп просвещенного западничества и по прямой линии производит от него тургеневского Потугина<sup>6</sup>, стремящегося спасти Россию вовремя сказанным нужным словом; другой журнал видит в Белинском истинно русского человека и толкует его слова в совершенно славянофильском духе; третий, наконец, ставит его на одну доску с утопистом Чернышевским. Мы могли бы привести немало и других примеров, если бы не боялись, что они, относясь к такому темному и смутному делу, будут совершенно неясны для читателей.

Ясно одно: наша критика, то есть сознание нашего движения, оценка различных его явлений, находится в жалчайшем положении; она не выработала никаких точных, общепринятых результатов.

И опять ведь не то! Пожалуй, критика и не виновата. Читатели согласятся с нами, что если порыться в нашей бедной литературе, то найдется в ней немало страниц, в которых отчетливо и обстоятельно излагаются значение г. Островского, отношение его к прежним писателям, сущность того переворота, который он сделал в русской сцене, сила или слабость тех возражений, которые

можно против него сделать. Найдутся также страницы, в которых по заслугам оценивается деятельность Белинского, указываются периоды этой деятельности, влияния, под которыми она находилась и отделяется то, что в ней было напускного и фальшивого, от чистого золота, добытого этим талантом. Что касается до г. Чернышевского, то, по особым обстоятельствам о нем мало было писано; но и о нем кое-что найдется, во всяком случае на столько-то найдется, чтобы провести различие между ним и Белинским.

Да, эти страницы найдутся; но только кто же их станет искать? У кого окажется настолько сильно уважение к нашей литературе и настолько слабо пренебрежение к ней, что он займется этим как серьезным делом, что он не побрезгует им, как брезгует всем русским тургеневский Потугин? Не покажется ли большинству даже смешным человек, которому бы вздумалось взяться за столь маловажное занятие? Мы помним, как один московский журнал, из самых серьезных и уважаемых, укорял другой, петербургский, между прочим и за то, что тот «все толкует о русской литературе, да об Островском». И когда еще сделан был упрек? В самый разгар всяких толков и споров. Теперь же положение дела в десять раз хуже. Если имена Островского и Белинского, случайно приходя на ум, вызывают лишь высокомерное пренебрежение, то кто же вспомнит об их ценителях и критиках. Бедная литература, бедная критика!

Наконец, нас смущает еще одно обстоятельство весьма яркого свойства. Г. Чернышевский считается у нас писателем вредным и сочинения его нелепыми фантазиями. Другое дело Белинский. Слава его, как знатока и верного ценителя произведений нашей литературы, имеет у нас большую прочность и большое распространение; к стати, в нынешнем году печатается третье издание полного собрания его сочинений. Без сомнения, эти сочинения составляют настольную книгу каждого учителя русской словесности в каждой русской гимназии. Спрашивается теперь, как переварит в своей голове такой учитель или его питомец сопоставление Белинского с г. Чернышевским? Какой смысл он может найти в этом сопоставлении и как выйдет из путаницы понятий, которая в нем неминуемо возбудится? Если он поверит «Москве», то он должен будет думать, что Белинский если не столь же вреден, то, по крайней мере, столь же неоснователен, как г. Чернышевский. А где же основания? Куда он обратится для того, чтобы со знанием дела отречься от своего прежнего руководителя и заменить его указами новыми? Где он найдет книги и статьи, которые бы заменили ему двенадцать томов ясной, отчетливой речи Белинского?

Мы не имеем здесь в виду заступаться за Белинского и выставить его заслуги; мы завели речь о нем для того только, чтобы вы-

яснить следующий факт: существуют у нас люди, пожалуй, целая партия мыслящих людей, для которых сочинения прославленного Белинского суть не что иное, как *недоваренные объедки чужих мыслей*. В этом, конечно, нет ничего прискорбного. Даже приятно вообразить, что есть у нас люди, имеющие право на подобное высокомерие, что есть такие взгляды на русскую литературу, которые своею глубиной, жизненностью и цельностью совершенно затмевают взгляды Белинского. Понятно, что такие люди должны враждебно относиться к авторитету Белинского, считать его славу за фальшивое явление, которое должно со временем пасть и развеяться. Но вот что непонятно и прискорбно: почему же не пишут эти люди? Не составляет ли это прямого их долга, не лежит ли это на их ответственности? Слава Белинского растет и укрепляется; издание следует за изданием, — а враждебная партия молчит. Нет в нашей литературе ни изложения взглядов этой партии на литературу, ни ее суда над Белинским, такого суда, который бы основательно и отчлively определял значение знаменитого критика и не давал бы увлекаться его, по мнению партии, неосновательными сочинениями.

Только иногда, когда случайно приведет их к тому течение речи, люди, враждебно относящиеся к славе Белинского, делают о нем пренебрежительный отзыв, до такой степени пренебрежительный, как будто больше говорить о нем они почитают даже ниже своего достоинства. Точно они только нарочно дразнят его почитателей, только желают вызвать в них недоумение и негодование...

И вот в каком положении дело относительно такой огромной знаменитости, как Белинский, относительно человека, памяти которого наш первый современный писатель г. Тургенев посвятил своих *Отцов и детей*, подобно тому, как некогда *Бориса Годунова* Пушкин посвящал *драгоценной для россиян* памяти Карамзина...

Как тут не скажешь: бедная литература! бедная критика! \*

\* Кстати, об изданиях сочинений Белинского: обращаем внимание почтенных издателей на то, что эти издания все больше и больше переполняются опечатками самыми грубыми и досадными, а именно — искажающими не одни слова, но и смысл речи. Положим, что это *недоваренные объедки чужих мыслей*, но так как наша литература еще не переварила их, то желательно было бы читать их, не спотыкаясь на каждой странице и не разыскивая того, где наборщику угодно было пропустить частицу *не* и тем дать речи обратный смысл, и действительно ли он вместо слова *ручаться* поставил более модный глагол *ругаться*. Издания Белинского представляют одно из самых плачевных доказательств того, что *перепечатки постепенно искажают* текст и что, следовательно, Гуттенбергово изобретение еще не освобождает печатающих от необходимости следить за смыслом печатаемого и вполне понимать его. (Здесь и далее примечания Н. Страхова.— Н. Ск.).



## II. О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, «НЕДОСТОЙНЫХ» ХОРОШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бедна наша литература, но какого рода эта бедность? Бедность ли это старика, которого все труды были бесплодны, или бедность юноши, еще мало успевшего испробовать свои силы? Бедность ли это внутренняя, то есть скудость духовного содержания, которая может сочетаться с довольно блестящим внешним обликом, или это бедность внешняя, под которой скрываются богатые и глубокие задатки?

Каждый согласится, что насколько легко указывать вообще на бедность нашей литературы, настолько трудно характеризовать эту бедность, в частности, определить ее действительные черты, настоящее положение дела. Белинский, который знаменит тем, что лишил нашу литературу многих мнимых богатств и, в силу своего удивительного эстетического понимания, строго определил ее действительные богатства, часто указывал на особенности этих немногих сокровищ. Он говорил, например, что мы гораздо богаче крупными талантами, чем второстепенными, которые могли бы, по-видимому, являться чаще первых, что у нас много является писателей, подающих надежды, но редко эти надежды сбываются, что самые большие наши деятели, по какой-то таинственной судьбе, рано умирают, чему доказательство — Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, что, наконец, наша литература развивается необыкновенно быстро, что в какие-нибудь десять лет вкусы и требования читателей успевают совершенно измениться. Все это совершенно верно, и каждая из этих черт имеет глубокий смысл, представляет указание на существенные особенности нашего литературного развития. Ясно, что это развитие имеет некоторый судорожный, неправильный, как бы чем-то подавленный и, однако, неудержимо рвущийся ход; это литература, почему-то не могущая ни на чем остановиться, не дающая зреть своим талантам, не успевающая крепнуть и развиваться в определенных формах. Только сильные таланты, крепкие сами собою, успевают делать свое дело в такой литературе; мелкие она сбивает с толку, ибо не дает образоваться никакой рутине и быстро доходит до конца всякой раз проторенной дороги.

Итак, эта бедность есть бедность совершенно особенная, своеобразная. Рассматривая ее черты, может быть, можно открыть весьма серьезные основания для надежд на будущее. Если мы, например, убедимся, что та безостановочность и быстрота развития, о которой так часто говорил Белинский, имеет место и до сих пор, то уже это одно будет свидетельством сильной живучести нашей

литературы. Если мы взвесим все препятствия, которые эта литература встречала в своем развитии, то, может быть, найдем, что она немало и сделала. Может быть, окажется, что удивительным образом в этой литературе сказалась душевная мощь великого народа, того народа, который Европа до сих пор считает варварами и который в лице своих образованных представителей сам впадает иногда в сомнение и сокрушение относительно своих духовных сил.

Собственно говоря, вот полный объем задачи для того, кто заговорил о нашей духовной бедности. Если мы действительно великий народ, если таковы наши надежды и притязания, то наша литература должна представлять задатки великой литературы. Так или иначе в ней должны найтись черты той силы, которую мы за собою признаем, должны открываться широкие и могучие стремления, достойные великого народа. Открыть и уяснить эти задатки и стремления — вот задача, хотя, может быть, и весьма трудная, но настоящая задача для того, кто хотел бы вполне объяснить нам нашу бедность.

Каждая вещь должна быть судима на основании ее самой. Ничего нельзя понять ни в каком деле, если мы будем становиться на чуждые ему точки зрения, если будем прикидывать к нему чуждые ему мерки. Белинский потому и верен во многих своих суждениях, потому и приобрел свою славу, имел сильное влияние и многое сделал, что он — несчастный! — сливался душой с этою бедною литературою, жил ее скудною жизнью, принимал ее дела всуерьез самый сурьезнейший. Но только так и можно вполне верно понимать литературные стремления. Не будем брезговать ими и смотреть на них свысока; только тогда мы поймем их настоящее значение. Литература есть дело органическое; ее недостатки тесно граничат с ее достоинствами, и там, где высокомерный взгляд видит лишь больное место, в действительности, может быть, окажется здоровое и глубокое усилие организма избавиться от худосочия.

Так на сей раз случилось с «Москвою». Как на какое-то темное пятно в нашей литературе она указывает на драмы *самого* (ее слово) Островского. Эти драмы, как известно, составляют самую значительную и, пропорционально объему, самую лучшую часть нашего репертуара; ими, главным образом, пробавляются наши столичные и провинциальные театры. Но что же это за богатство? Что в них хорошего? По словам «Москвы», это не более как «попытка дагерротипировать уродства быта и речи и возвести карикатуру в перл создания».

Упрек, по-видимому, меткий. В самом деле, вообще говоря, нельзя не согласиться с Добролюбовым, что мир драм г. Островского есть *темное царство*, царство, изобилующее *уродствами быта и речи*. Нельзя не согласиться и с тем, что не думал г. Островский обличать это царство, как полагал Добролюбов, а именно хотел некоторым образом возвести его в перл создания. По выражению Ап. Григорьева, это был культ изображаемого быта, попытка схватить все его живые и поэтические моменты.

Многим это не нравилось. Обыкновенный, ходячий упрек г. Островскому заключается в низменности изображаемого им быта. Все купцы да купцы!... И вот этот давнишний упрек, как нарочно, повторяется при таких обстоятельствах, которые, казалось бы, должны были очень поразить упрекающих и подсказать им более правильное понимание дела.

Кому не известно, что г. Островский с некоторого времени изменил свою деятельность. Он как будто послушался своих всегдашних корителей. Он бросил презренную прозу и пишет стихи; он покинул своих купцов и выводит нам на сцену дворян, бояр, воевод, царей; он уже не изображает нам семейных драм темного царства, а представляет исторические события, государственные перевороты.

Что же, лучше вышло? Обогатилась русская литература? Увы! «Москва» говорит так, как будто этих стихотворных драм, изображающих высокие лица и деяния, вовсе не существует на свете; «Москва» помнит только бытовые драмы, возводящие в перл сознания уродства быта и речи. И это совершенно справедливо: именно этими драмами был и будет известен г. Островский; именно они составляют его главную и неотъемлемую заслугу. А из этого следует, что недаром он прежде так упорно держался этой области, недаром избрал ее и в ней работал. Это было правильное, правдивое, а потому и плодотворное приложение его таланта.

Для ясности припомним некоторые аналогические факты из истории нашей литературы — ибо ведь наша бедная литература уже имеет свою историю, и притом весьма поучительную, хотя и мало известную и мало понимаемую. Когда Пушкин издал «Повести Белкина», то ему делали упреки, совершенно подобные упрекам, делаемым г. Островскому за бытовые драмы. Юный тогда Белинский приходил в отчаяние. «Вот передо мною лежат, — писал он, — *Повести, изданные Пушкиным*: неужели Пушкиным же и написанные? Пушкиным, творцом «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», «Цыган», «Полтавы», «Онегина» и «Бориса Годунова»? Правда, эти повести знаменательны, их не-

льзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать; но они не художественные создания, а просто сказки, и побасенки». «Словом,— прибавляет печальный критик, —

... Прозаические бредни,  
Фламандской школы пестрый сор!<sup>7</sup>

Из повестей, собственно, только первая, *Выстрел*, достойна имени Пушкина» (Соч. Белинского, т. 1, стр. 323).

Итак, эти повести признаны недостойными имени Пушкина, и ясно из-за чего, из-за изменности лиц и событий, ими изображаемых, из-за того, что критик видит в них фламандской школы *пестрый сор*. Так точно г. Островскому говорят в наши дни, что сочинения его недостойны русской литературы, недостойны именно по причине быта, им изображаемого.

Известна затем история с Гоголем. Даже малосведущим в нашей словесности, конечно, памятны упреки, которые делались Гоголю за сальность его изображений, за то, что в его произведениях нет лиц добродетельных и светлых, а одни только подлецы и дураки. Но тут сила того таинственного процесса, который поражает у нас произведения, по-видимому, недостойные великой литературы, обнаружилась гораздо яснее. Известно, что Гоголь сам пытался покинуть ту изменную сферу явлений, которая выпала на долю его таланта, пытался подняться в более высокие области и изобразить нам людей добродетельных и светлых, представителей «несметного богатства русского духа». Попытка эта должна была совершиться во второй части «Мертвых душ». Известно далее, что Гоголь не совладал с этою попыткою и умер в то самое время, когда она лежала на его душе, так что неудача в его усилиях в той или другой степени, очевидно, содействовала его смерти.

Тайну своей борьбы и своей неудачи Гоголь хотел унести с собою в могилу и потому сжег уже вполне готовую рукопись второй части своей поэмы. По счастью, сохранился, однако же, список некоторых глав, и они были напечатаны, хотя уже несколько лет после смерти автора. Поучение, которое можно извлечь из этих отрывков и вообще из всей этой грустной истории, казалось бы, не должно быть забыто. Мы попробуем изложить его по указаниям г. Писемского, который, будучи сам одарен художественным дарованием, был, так сказать, кровно заинтересован в деле. Когда вышли отрывки второй части «Мертвых душ», он написал критическую статью (1855), в которой объяснил, в чем состоял грех Гоголя. Грех был в том, что, обладая способностью юмора, Гоголь «не оперся исключительно на нее в своих созда-

ниях», что он, «как бы испугавшись будто бы бессмысленно грязного и исключительно социально-сатирического значения своих прежних творений и снедаемый желанием непременно сыскать и представить идеалы, обрек себя на труд упорный, насильственный»; что он принялся за создание лиц, которые «вне его средств».

Эта измена своему таланту была глубоко противна художественному чутью г. Писемского. Выписав страницу, на которой изображается «чудная славянская дева», Улинька, дочь генерала Бетрищева, он весьма справедливо говорит:

«Описание это, по моему мнению, ниже самых напыщенных описаний великосветских героинь Марлинского, потому что там, по крайней мере, видно более знания дела и, наконец, положено много остроумия. Тон речи этой восемнадцатилетней девушки превосходит фальшивостью самое описание».

Статья заключается нравоучением, которое вполне вытекает из басни и которое

Не худо всегда бы помнить.

«В заключение,— говорит г. Писемский,— могу пожелать всем нам, писателям настоящего времени<sup>8</sup>, призванным проводить животворное начало Гоголя или внести в литературу свое новое,— одного: чтобы, имея в виду ошибки великого мастера, каждый шел по избранному пути, не насилуя себя, а оставаясь к себе строгим в эстетическом отношении, говорил, сообразуясь с средствами своего таланта, публике правду» (Соч. Писемского, т. II, стр. 273).

Правда, чистая, строгая правда — вот требование, которое в лице г. Писемского высказало русское словесное искусство. И кто знает нашу литературу, тот не может сомневаться, что это же требование обращает к себе каждый русский художник. Припомним здесь, кстати, еще словцо того же писателя, которому, по некоторой особенности его таланта, привелось высказать несколько откровенностей, может быть, грубых, но искренних и значительных. Г-н Писемский вывел себя самого на сцену в романе «Взбаламученное море». Он рассказывает, как он читал свою повесть «Старческий грех», и заставляет одно из действующих лиц, некоторого умного и многоопытного старца, произнести такой приговор его таланту, что путь, которого он, г. Писемский, держится, есть единственный *честный* путь.

Велик здесь порыв авторского самолюбия, но его не только можно извинить, а можно найти достойным всякого уважения, если мы пойдем, на каком поприще это самолюбие состязается

с другими. В чем наши художественные писатели стремятся превзойти один другого? В *честности* отношения к делу, в неподкупной правдивости, в строгости к самому себе, в точном сообразовании своих усилий со средствами своего таланта.

Такова наша бедная литература! Невозможно не заметить того тяжкого и упорного труда, который она на себе несет. Русские художники признают для себя требования непомерно высокие; они работают, исполненные какой-то религиозной боязни отступить от правды; они не смеют прибегнуть ни к единому рутинному приему, ни к малейшему облегчению своего труда посредством готовых, привычных форм. В этом смысле мы можем выставить некоторые произведения нашей литературы на образец всему миру. Можно поравняться с ними в правдивости, но превзойти их невозможно.

Если же так, то из этого мы можем понять, что значит для нашего художника выбор предметов, которые он возводит в перл создания. Не по произволу совершается такой выбор; он совершается *честно*. Поэтому нужно поставлять за славу писателю, если он строго держится границ своего таланта; напротив, горе тому, кто их покидает!

А отсюда следует, например, что нельзя упрекать г. Островского за быт, который он воспроизвел в своих драмах: если вы их признаете в известной мере художественными произведениями, то должны вместе признать за заслугу г. Островского то, что он держался именно этого быта, а не какого другого. Он честно служил делу и, следовательно, ни в каком случае не может подпасть презрительному отзыву.

Но отчего же, спросит читатель, наши правдивые писатели избирают все такие низменные предметы? Отчего они не подарят нам ничего возвышенного, величавого? «Зачем же,— как уныло говорил сам Гоголь,— изображать бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни?»<sup>9</sup> Когда же, наконец, предстанет перед нами «несметное богатство русского духа»? Скоро ли?

Предмет так высок, что жутко становится говорить о нем. Надо так полагать, что придется нам еще подождать порядком. Гоголь обещал скоро, «еще в сей же поэме», то есть в «Мертвых душах». Но он не сдержал обещания, а нам теперь даже странно, что он его сделал.

Все это весьма достойно внимания. Была, значит, в нашей литературе минута такого возбуждения и напряжения, когда поэт горячо веровал в несметное богатство русского духа, когда он считал себя настолько прозревающим в это богатство, что смело обещал поставить его перед глазами читателя. Это обещание как

будто сделала нам сама русская литература в лице одного из своих великих представителей. По всему этому нужно полагать, что она его сдержит.

Но мы ясно теперь видим, что Гоголь сам не мог сдержать этого обещания. Не таковы были его силы и, главное, не таков был неизбежный, неотвратимый поворот, который совершался в нашей литературе. В самом поэте это, очевидно, был порыв назад, к Пушкину. Его Ульяна задумана по Татьяне. Но идти назад, идти против развития невозможно.

Теперь, после всего того, что сделано в нашей литературе, обещание Гоголя звучит какой-то дерзкой, так сказать, героической наивностью. Теперь, когда мы так глубоко переболели всякими муками анализа и жаждой правды, нас мудрено было бы обмануть таким обещанием.

Мы верим в «несметное богатство русского духа», но потому самому считаем более приличным не торопиться с этим делом и не сокрушаться заранее. Ждали долго, подождем и еще. Дело, как видно, не шуточное и не маленькое, коли сразу не дается. Если это — несметное богатство, то пусть оно и будет несметным, неисчерпаемым, а не таким, которое легко было бы представить «в сей же поэме». Будем верить, а до тех пор постараемся только не обманывать себя мнимыми богатствами, постараемся честно и строго смотреть на свое дело.

Ядовитый процесс этого неудовлетворения и стремления, который переживает наша литература, начался, как мы заметили, в Пушкине, в кульминационной точке нашего литературного развития. Он первый оставил возвышенные сферы, которые, по-видимому, были ему сроднее, чем кому-либо, первый принял за жанр, за пестрый сор фламандской школы, или, по его выражению, *подмешал воды* в свой поэтический бокал<sup>10</sup>. В величайшем нашем писателе сказалась вдруг потребность какого-то отрезвления, и с тех пор она царит в нашей литературе. Из нее нужно объяснять явления этой литературы. Из нее объясняется прозаически-ноющий стих Некрасова, напряженный анализ гр. Л. Толстого, симпатия к слабым натурам Ф. Достоевского, постоянная несостоятельность героев Тургенева, обнаженный реализм Писемского; из нее же следует объяснить поэтическое воспроизведение известного быта в драмах Островского.

В своем стремлении к трезвости и правдивости наша литература доходит иногда до цинизма, до признания законными и достойными сочувствия явлений, которые, в сущности, незаконны и недостойны никакого сочувствия; доходит она и до тупости, до непонимания и отрицания идеалов, но не нужно забывать, что это

частности и промахи, и упускать из виду существенный источник дела.

И трудно же было нашим поэтам, постигавшим, как далеко они стоят от несметного богатства русского духа! Уже Гоголь говорил, что «много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания»<sup>11</sup>. В последовавших за ним писателях можно встретить истинные чудеса добросовестности в работе. Стать в самое правильное, самое простое отношение к жизни, ничем не затемненное и не искаженное, — вот цель, которую все имели в виду. Поэтому нельзя не видеть, что эти писатели сделали действительные поправки того отношения к действительности, которое господствовало у Гоголя. Например, отношение г. Островского к изображенному им быту несравненно *вернее*, чем отношение Гоголя.

И вот почему бытовые драмы г. Островского принадлежат к настоящим богатствам нашей литературы; они составляют произведение той глубокой и трезвой струи, которая ведет начало своего течения от Пушкина; в этом смысле они суть яркое свидетельство живучести нашей литературы.

Бедная литература! Она похожа на человека, который принял-ся за свой труд весело и бодро, который усердно работал и уже льстился надеждой на то, что он что-то сделал, что близок конец задачи; помните:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

Вдруг в работе встречается затруднение, которое сначала кажется незначительным и легко победимым; но чем дальше идет работа, тем больше становится и затруднение; задача начинает расти и развертываться все шире и шире; и чем упорнее работает наш труженик, тем яснее только для него становится огромное расстояние, отделяющее его от желанной цели.

Наша новая литература началась с первой оды Ломоносова, с этого великолепного стиха:

Восторг внезапный ум пленил<sup>12</sup>.

а кончается она пока, кажется, выражением Тургенева: *все русское — дым*. Мы начали с восторга и приходим все к большему и большему унынию.

Ясно одно: все это признаки жизни, жизни неутомимой, неостанавливающейся. Не будет ли со временем нам ясно и то, что это признаки *великой* жизни?



### III. СОВРЕМЕННАЯ БЕДНОСТЬ

Быстро развивается наша бедная литература, и это, может быть, никогда не было так заметно, как в настоящую минуту.

Как? скажут нам, теперь-то? У нас настало какое-то затишье, какой-то сон царит повсюду; холод, скука, тоска — а вы говорите, литература развивается!

Развивается, повторим мы, и в том, что вы называете затишьем, мы именно и видим признак развития. Разберем сперва хорошенько дело. Что это за затишье, на которое все жалуются. Если взглянуть на дело со стороны, то, по-видимому, окажется, что мы не имеем никакого права жаловаться. Газетное дело у нас стоит так высоко, как никогда не стояло; журналов у нас стало больше прежнего; книги оригинальные и переводные продолжают выходить во множестве, одна другой важнее, одна другой серьезнее. Из своих назовем для примера книгу г. Б. Чичерина «О народном представительстве»; какого вы хотите предмета важнее и любопытнее<sup>13</sup>. Из переводов укажем, например, на недавно явившуюся «Критику чистого разума» Канта<sup>14</sup>; чего еще серьезнее и глубже. Этого еще никогда и не бывало в русской литературе. Наверное лет 60, а вероятно и более, эта критика считается у нас величайшим произведением ума человеческого; но в течение всего этого времени ни разу наша литература не была в таком серьезном настроении, никогда переводчики или издатели не считали наших читателей так глубоко заинтересованными философиею, чтобы решиться усвоить отечественной словесности это знаменитое творение, основной камень всей германской мудрости.

А журналы? С прошлого года выходят: «Вестник Европы», «Дело», «Женский вестник», «Записки для чтения»; с начала нынешнего стали выходить: «Журнал Министерства народного просвещения» (по новой программе, весьма расширенной), «Всемирный труд», «Литературная библиотека». Неужели мало?

Сообразно с этим увеличивается и число пишущих; ведь не один только г. В. П. Авенарцус составляет новость в нашей литературе; появились также г-да Данкевич, Н. Киреев, Е. Бутковский, Н. Смирнов, Демидов, Н. Хохлов, А. Боровиковский, Н. О. Бажин, Н. Сведенцов, Г. Вилламов и проч., и проч., не говоря уже о тех, которые, как г-да А. М., Н. П., М. М-нь, Г-й, П. К. и т. д., из скромности не подписали своего полного имени. Мы ограничиваемся при этом одною изящною словесностию, не упоминая о новых критиках, публицистах, фельетонистах и проч.

Прежние писатели тоже продолжают действовать, иные даже усерднее и удачнее прежнего; давно ли мы читали новые произ-

ведения гг. Тургенева, Островского, гр. А. Н. Толстого, Писемского\*.

Словом, с каждым днем литература расширяется и обогащается. На следующий год у нас будет, по крайней мере, еще один новый ежемесячный журнал. «Вестник Европы», журнал историко-политических наук, объявляет (см. сентябрь 1867), что он будет выходить двенадцатью книжками. «Начав,— говорит он,— с опасения за недостаток в материалах, мы весьма скоро начали затрудняться их обилием, и вследствие того явилась само собою возможность и даже необходимость увеличить объем журнала». Вместо прежних 150 печатных листов в год «Вестник Европы» обещает давать 300 или 350. Он будет помещать произведения изящной словесности и критические статьи.

Итак, где же оскудение? Где же затишье? Вообще нам кажется, что люди, жалующиеся на современное положение литературы, едва ли вполне ясно понимают, на что они, собственно, жалуются. Очень часто эти жалобы, которые так постоянно раздаются в большинстве наших повременных изданий, производили на нас даже весьма комическое впечатление.

А именно — литераторы как будто жалуются читателям на самих же себя. Несколько смешно читать, например, фельетониста, который жалуется на отсутствие хороших фельетонов, критика, который плачет об упадке критики, публициста, который сокрушается о жалком состоянии нашей публицистики. Толстый журнал вдруг дает понять, что хороших журналов у нас теперь не существует; газета ядовито намекает, что все газеты нынче из рук вон плохи.

Так и хотелось бы обратиться ко всем этим печальным и сердитым людям со следующей речью: вспомните, пожалуйста, что вы сами писатели, критики, редакторы; в ваших руках есть и газеты, и журналы, и сборники; притом всех вас множество неисчислимое. Что же мешает вам? Блестайте, гремите, изумляйте нас глубиной мыслей и теплотою чувствований! Вы, например, г. фельетонист, столь гневно и презрительно обзирающий явления нашей текущей литературы — что вам мешает обогатить эту бедную литературу рядом блестящих фельетонов, в которых было бы еще что-нибудь, кроме гнева и презрения? Вы, г. публицист, что вам мешает обновить нашу публицистику? И т. д. Ваши жалобы или

\* А что сказать теперь, когда литература приобрела такое произведение, как «Война и мир», произведение, вдруг заслонившее и отодвинувшее на задний план все другие наши новости и затеи? Это ли оскудение? — Позднейш. примеч.

ничего не значат, или доказывают только одно — ваше собственное бессилие.

А если так, то чем хуже вы будете себя чувствовать, тем лучше. Великий прогресс, когда люди, воображавшие себя сильными, начинают, наконец, сознавать, что они обольщали самих себя, что сила их была мнимая. Правда всегда плодотворнее лжи.

Уже по одному этому можно судить о том времени, когда г-да жалующиеся были довольны, когда, по их мнению, литература процветала и мы быстро шли вперед. Послушать иных — так недавно у нас был золотой век журналистики, было сильнейшее умственное движение, блистательное развитие. Справедливо ли это? Действительно ли за нами славное прошедшее, обильное знаменитыми делами? Если мы теперь бедны, то не были ли мы еще недавно очень богаты? Увы! Мы думаем, что едва ли возможно питать такие розовые взгляды на нашу литературу.

Будущий историк... удивительно приятно иногда предполагать, что у нас будут историки — да еще какие! Внимательные, добросовестные, пронизательные; но читатель должен твердо помнить, что это одно предположение, которое может и не исполниться; не нужно обольщать себя надеждами; весьма может быть, что мы останемся и без историков и что все дела наши так и останутся нераспутанными и покрытыми мраком... Итак — будущий историк нашей литературы, сравнивая книжки золотого века нашей журналистики с иными из тех журнальных книжек, которые выходят теперь, едва ли в силах будет найти какую-нибудь разницу между ними. В том и в другом периоде он найдет одинаковую степень учености, одинаковые взгляды, одинаковые художественные приемы; во многих случаях даже пишут одни и те же лица. Для него, для будущего историка, весьма трудно будет решить, почему же книжка времен процветания была встречаема с восторгом и читалась с жадностью, а совершенно подобная книжка времен упадка не вызывала ни малейшего внимания. Судя по внутреннему достоинству этих писаний, он, пожалуй, найдет, что последнее отношение, то есть холодность и невнимание, — гораздо правильнее, чем странный восторг, с которым мы бросались когда-то на эти пустяки. Это так верно, что для подтверждения не нужно ссылаться и на будущего историка, как это мы сделали для выпуклости дела. У нас есть не одни предположения, а и факты, подтверждающие наши взгляды. Именно среди самого разгара процветания журналистики у нас были люди, до того хладнокровные и скептические, что они не видели в этом процветании никаких действительных успехов и столь же мало находили хорошего в тогдашних книжках, как и в нынешних. Такие люди не находят,

чтобы журналистика наша упала; напротив, в настоящее время чуть ли они не встречают больше пищи для своего ума, чем прежде.

Итак, подлежит весьма большому сомнению то, что наша литература прошла некоторый блестящий период, что мы недавно были богаты движением и развитием. Если бы было так, то у нас, казалось бы, должны быть в руках ясные цветы и плоды этого развития, а их-то мы и не находим.

Презагадочное дело — эта русская литература; иногда весьма трудно сказать, что такое в ней делается. Вместо действительных явлений перед нами возникают какие-то миражи. Совершается какая-то странная воздушная история, напоминающая рассказы о том, как перед действительным сражением являются на воздухе воины и сражаются между собою. Помните ли вы, как происходило это горячее движение, непрерывно разраставшееся и усиливавшееся? Возвышались люди, до тех пор неизвестные; одни сменили других; возгорались какие-то распри и торжествовались какие-то победы; была увлекательная радость, с одной стороны, и страх — с другой; совершались какие-то перевороты, переломы; раздавались крики восторга и злобные ругательства; словом, все движение имело вид самой живой и яркой действительности. Казалось, что перед нами совершается не воздушная, а настоящая история.

И что же? Все помнят, как все это вдруг рухнуло, осело и исчезло. Дунул ветер, и фата-моргана, в которой нам виделись города, башни, битвы и кораблекрушения, — пропала. Собственно говоря, к этим явлениям должны быть отнесены горестные слова г. Тургенева, все русское — дым!

До сих пор, однако же, многие остаются обманутыми и считают это прошлое чем-то действительным. По неизбежному закону всякая литературная эпоха, имевшая жарких поклонников, оставляет после себя много людей, которые нелегко расстанутся со своими милыми преданиями и потому становятся часто ожесточенными староверами, живущими прошлым и слепыми для настоящего. Еще и до сих пор встречаются старички, которые вздыхают о временах Булгарина<sup>15</sup>. Что же мудреного, что недавнее время процветания имеет тоже своих вздыхателей. Какое, говорят они, было тогда движение в литературе! Какие появлялись статьи, возбуждавшие всеобщее внимание! Какие критики! Какие повести!

Между тем если мы потребуем более подробного отчета у этих поклонников прошлого, если сами попробуем хорошенько взглянуть в это движение, то окажется, что очень трудно уловить его хорошие и плодотворные стороны. Напротив, прежде всего нам

бросятся в глаза черты комические и дикие. Собственно говоря, это было время скандалов, время, когда русская литература обнаружила все свои слабые стороны.

Помните ли вы, читатель, например, литовскую теорию происхождения Руси<sup>16</sup>, придуманную г. Костомаровым? Какой шум и гам был из-за нее поднят! Был публичный диспут с г. Погодиным, написано множество статей, а между тем, в сущности, то есть в отношении к науке, ведь это было не что иное, как скандал на поприще русской истории. Помните ли вы историю дамы, читавшей публично «Египетские ночи»<sup>17</sup>, и последовавший за тем «Безобразный поступок „Века“»? Смешно вспомнить эту невероятную кутерьму, на которую было потрачено столько чернил и бумаги и так мало здравого смысла. Помните ли вы Никиту Безрылова и грязные воротнички?<sup>18</sup> Странно, если забыли, ибо шуму и грому было немало. А вопрос о *тупоумных глупцах и грязных пошляках*? Но вы, наверное, помните вопрос о классическом образовании и историю ученого комитета<sup>19</sup> при министерстве народного просвещения, который в ожесточенной полемике был разбит «Московскими ведомостями». Это был великий скандал, обнаруживший бедность наших умственных сил и отсутствие всяких твердых педагогических понятий, несмотря на то, что со времен «Вопросов жизни» Пирогова<sup>20</sup> у нас писались по педагогике целые коробки статей. А помните ли вы эти «Вопросы»? Помните ли?..

Но мы никогда не кончили бы. Довольно и этого... Пересматривая это недавнее прошлое, это время оживления и процветания, к величайшему прискорбию убеждаешься, что весь этот шум и гам остались бесплодны, что ничего из него не выработалось, не получилось никаких прочных и ясных результатов. Шум обыкновенно возбуждался скандалами, которые совершала в это время русская литература на поприще наук, критики, искусства, общественной жизни. Скандалы возбуждали противодействие; но вся эта странная борьба и деятельность, как будто в самом корне лишенная живых соков, ни к чему не приводила и ничего не порождала. Какие вопросы мы решили? Какие прочные основы положили? Никаких.

А между тем прожито много, и много потрачено сил. Несерьезное дело мы принимали всерьез и тратили на него свою душу. Такая уж увлекающаяся у нас натура, что мы ничего не умеем делать вполовину, с осмотрительностью и хладнокровием.

Один из остроумнейших и глубокомысленнейших наших писателей (такие есть, читатель) сравнивает эти явления не с дымом, как г. Тургенев, а с прививною оспою. Он утверждает, что мы из-

давна страдаем различными болезнями, но болезнями, составляющими лишь подобие настоящих, глубоких потрясений организма. Эти прививные страдания переносятся легко и проходят быстро; и будто бы (таково мнение нашего автора) они избавляют нас от опасности настоящего, глубокого заражения.

Как бы то ни было, мы пережили эпоху какого-то сильного и, очевидно, болезненного возбуждения. Мы и теперь хотим жить, но уже не хотели бы жить этою лихорадочною, миражною, призрачною жизнью; вот источник того общего разочарования и недовольства, которое чувствуется теперь. Многое нам опротивело навсегда; многое мы испробовали и навсегда от него отказались. Мы чувствуем, что вернуться назад невозможно, и что нас может удовлетворить теперь только серьезная, трезвая, здравая деятельность.

Итак, чем хуже мы себя чувствуем, тем лучше. Чем меньше мы собою довольны, чем меньше у нас задора, чем меньше мы надмеемся надеждой быть руководителями и просветителями, тем лучше. Вот почему мы сказали, что нынешнее затишье и тоска в литературе — признаки ее быстрого развития. Мы идем навстречу чему-то новому.

Русская литература есть весьма серьезная литература; это видно в самых ее безобразиях, явных следствиях слишком серьезного отношения к делу. Нынешнее суровое затишье, полное раздумья и недоверия к себе, есть также состояние серьезное, есть действительный шаг вперед.

#### IV. ОБЩИЙ ХОД НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сознание вообще возрастает медленно.

Так точно и сознание нашей бедности возросло медленно и выяснилось постепенно. Были времена, когда мы считали себя очень богатыми и хвалились своею литературой; были времена, когда мы кричали: у нас нет литературы! Только понемногу мы начинаем уразумевать, в чем дело и каково наше действительное положение.

Мы начали, как мы уже заметили, с восторгов. Наше вступление в среду европейских народов, наше присоединение к потоку всемирной истории было блистательно и торжественно. Перенесемся, например, в ту минуту, когда Петром была одержана полтавская победа; не вправе ли он был радоваться. И вот

В шатре своем он угощает  
Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,  
И за учителей своих  
Заздравный кубок поднимает.<sup>21</sup>

Этот тост выражает гордое, радостное самодовольство. Давно ли Петр стал сам учиться у европейцев и заставлял учиться своих подданных, и вот он уже дождался плодов своих стараний — *ученики победили своих учителей!*

С тех пор, с этой радостной минуты прошло много времени. Окно, прорубленное в Европу, все время стояло настезь; Петербург рос не по дням, а по часам и перерос многолюдством древнюю, многовековую Москву. Прошло сто лет, и полтора ста лет, и более; все время мы учились усердно, перенимали у европейцев все, начиная с их костюма и кончая их философией. И до чего же дошли мы? Кто скажет в настоящую минуту, что мы поравнялись со своими учителями? Кто с радостным сердцем предложит тост за них, как за себе равных?

После стольких усилий, больше чем когда-нибудь мы сознаем, как мы далеки от Европы; более чем когда-нибудь мы чувствуем свое бессилие сравнительно с нею, бессилие и материальное, и нравственное, и умственное. Севастопольский погром<sup>22</sup> открыл нам глаза в отношении к нашей внешней силе; но еще более грустные открытия сделаны нами потом в нашем умственном и нравственном настроении.

Где между нами европейцы? Где та масса русских людей, которая, издавна находясь в обучении у Европы, представила бы нам деятелей, равных своим учителям и готовых потягаться с ними? Оказалось, что подобных людей у нас вовсе не успело образоваться. Европейское просвещение приносит на нашей почве скудные или уродливые плоды, и если мы храним в себе запас какой-то таинственной силы, то вовсе не потому, что успели стать европейцами.

Что же за причина? Одно из двух: или мы народ неспособный, скудно одаренный природою и потому навсегда обреченный на роль учеников; или же есть некоторое препятствие к нашему обращению в европейцев, есть внутренняя, глубокая причина, мешающая нам идти по этой дороге, сбивающая нас с этого, по-видимому, гладкого и проторенного пути.

Но мы ли неспособны к чему-нибудь? Известны мы леностию, известны неустойчивостью и распущенностию; но в то же время целому свету известны мы своими бойкими способностями. Итак, есть что-то другое, в чем нужно искать разгадки наших малых успехов. Если в самой натуре, в задатках нашего нравственного бытия есть препятствие, не дающее нам покорно и слепо подчи-

няться чужому влиянию, если мы одарены некоторою нравственною самостоятельностью, крепкою, но не ясно сознаваемою, то понятно, что должна возникнуть борьба между стремлениями наших душевных сил и тем умственным строем, который на них налагается, который ставится для них авторитетом и правилом. Таким образом, вместо простой истории, по которой нам следовало послушно принимать европейское просвещение и с каждым годом преуспевать в нем все более и более,—получается история весьма сложная и темная. Обнаруживается реакция против европейского просвещения не в смысле его отрицания, а в том смысле, что мы не хотим подчиниться ему бездейтельно, слепо, а во что бы то ни стало желаем усвоить его себе, претворить в свою действительную духовную собственность. Мы не хотим, да и не в том дело, что не хотим — мы не можем просто следовать по известным путям и указаниям; это невозможно для народа, который действительно составляет существо нравственное. И по чужим путям мы хотим идти как по своим собственным, и чужим указаниям следовать как своим собственным мыслям.

Так это необходимо должно было быть, так это и было. У нас совершалась и совершается темная и таинственная история борьбы неясных начал с ясными, зачатков с развитыми формами. Смысл этой борьбы будет нам вполне ясен только тогда, когда она кончится, когда наступит примирение и в нем обнаружится, чего искали, к чему стремились борющиеся силы.

Но только в этой борьбе нужно искать главного нерва нашей умственной и литературной жизни; она придает собою многозначительные явления нашей литературы, и различные ее фазисы определяют ее периоды.

Наша литература — новая, разумеется, — начинается самым странным образом: она начинается торжественною песнью — одою, да какою! — ломоносовскою одою.

Всем нам известен удивительный литературный тип этих произведений. Тут напрасно говорить о подражании. Тон ломоносовской оды, ее величавый и могучий стих, ее величавый и в то же время ясный, спокойный восторг — все это типично в высшей степени, ибо все это искренно, задушевно. Эта ода звучит как торжественный колокол, и послушавши этого звона, никто его не забудет.

В своей известной диссертации К. Аксаков весьма справедливо настаивал, вопреки Пушкину, на том, что Ломоносов был действительный поэт<sup>23</sup>. Не будучи поэтом, невозможно было создать поэтический язык и творения, столь полные поэтических порывов.

Чтобы понять всю естественность, всю неодолимую силу, внушившую эти оды, нужно вспомнить, что более полувека наша ли-



тература находилась под их влиянием. Весь период до Карамзина можно назвать периодом оды. Пушкин, деятель совершенно иной эпохи, был изумлен таким долгим влиянием, и написал о Ломоносове следующий сердитый и потому несправедливый отзыв: «Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым» (Соч. Пушк. Т. V, стр. 403).

Так говорил человек, который, вместо неопределенного восторга, должен был принести нам поэтическую правду, настоящую меру всякого восторга и всякого чувства русской души. Как завершитель периода, он с изумлением оглянулся на начинателя периода и записал громадную разницу, которую нашел между им и собою.

Восторг Ломоносова был восторг неопределенный, но искренний; это было отражение радости Петра после Полтавской битвы, чувство своей силы и твердая надежда на блестящую будущность. Петр был любимым героем Ломоносова, как вообще он был путеводною звездою, краеугольным камнем, на котором опиралась сила петербургской империи. Ломоносов поминает Петра в каждой своей оде, и точно так же в каждой оде он поминает науки: то уверяет, что для них настало счастливое время, то указывает на широкое поприще для них в России, то предается надеждам:

Что может собственных Платонов  
И быстрых разумом Невтонов  
Российская земля рождать<sup>24</sup>.

И почему ему было не надеяться? Он сам сознавал в себе полную силу, сам стоял наряду с величайшими учеными того времени, с Вольфами и Эйлерами; он чувствовал себя столь большим, что считал себя выше целой академии немецких ученых, учрежденной в Петербурге, и полагал, что можно не его отставить от академии, а разве академию от него...

Счастливые времена! Не было и мысли о каком-нибудь разладе, не было и тени сомнения в том, что мы уже навсегда слились с Европою, что скоро во всем совершится предсказание, данное Полтавскою битвою, то есть, что *ученики победят учителей*.

За Ломоносовым следует Державин. И что же? В новом свете восторг не только не умалется, а делается живее, определеннее, ярче. По-прежнему по Руси несется звук оды, звук торжественной песни, но в этой песне проступают уже краски и образы; перед нами уже обозначаются в ней живые лица: Екатерина, Потемкин. Это уже не простой хвалебный гул, это уже живая, теплая поэзия.

Для характеристики этого времени мы воспользуемся словами Хомякова, по нашему мнению, всего яснее обозначающими глубину дела. Вот эта глубокая страница:

«Наступила другая эпоха. Жизнь общественная взяла свои права. Лучший и высший представитель поэзии в екатерининское время Державин есть в то же время общественный деятель в полном смысле слова. Правда, он не может без восторга называть Фелицу; но Фелица была предметом любви и восторга во всех краях России. Он сопровождает победы нашего войска и наши завоевания торжественными одами; но эти победы и завоевания были истинною радостью для всех русских. Измаильский штурм, Очаковская зима, пожар Чесмы казались происшествиями не только политической жизни народа, но и частной жизни каждого русского: Румянцевы и Суворовы делались именами нарицательными. И всем нашим славам был отзыв в полудиких, но могучих стихах Державина (я называю их полудикими потому, что он гораздо менее служит художеству, чем Ломоносов). Но Державин не льстец: его резкое и смелое слово бьет и клеймит общественный порок, бьет и клеймит временщиков и более всех полудержавного временщика, которого, с великодушием и правдивостью поэта, он потом простил и увенчал, назвав его «великолепный князь Тавриды». Фонвизин в своих комедиях борется с общественными слабостями и пороками; слово гражданина постоянно слышится у Болтина<sup>25</sup>. Наконец вся литература от Державина до Княжнина<sup>26</sup> и Николева<sup>27</sup>, несмотря на свои формы, или вовсе необработанные, или нелепо-академические, носит на себе характер деятельности общественной. В ранней молодости, выросши под влиянием другого направления, я часто слушал с удивлением речи стариков, совершенно чуждых литературным интересам, о словесности прежних годов. Я удивлялся их почтению к именам, по-видимому, вовсе недостойным славы. Загадка разгадалась для меня позднее, когда я понял, что они жили во времена словесности действительно серьезной, действительно русской — во сколько тесное общество высшего сословия может считаться представителем всей русской жизни. Эту сторону екатерининской словесности мало оценили. Самодовольная, самонадеянная критика 30-х — 40-х годов, вооружась против художественной отвлеченности нашей словесности, обвинила ее целиком в академизме и не заметила преобладающей стороны екатерининской эпохи. «Слона-то она и не заметила!» Впрочем, другого ждать нельзя было от этой односторонней и близорукой критики, которая, однако же в свое время была не бесполезна» (Соч. Хомяк., т. I, 682).

Таковы черты духовной жизни екатерининского времени. Литература отличалась тогда *художественною отвлеченностью и академизмом*, а между тем находила отзыв во всех краях России; писатели, по-видимому, *вовсе недостойные славы*, были для всех русских предметом почтения и восторга. Было, следовательно, какое-то очарование, которым жил тогда русский народ; было восторженное настроение, безмерно далеко отстоящее от нынешнего уныния и, очевидно, слишком высокое и напряженное, чтобы удержаться на этой высоте. Разочарование было неминуемо; но оно наступило не вдруг, ибо этот восторг не был мгновенною фальшивою вспышкой, а был органическим явлением, тесно связанным с жизнью всего государства, всего народа. Прошли поколения, и пережиты были целые литературные периоды, прежде чем мы дошли до всяческого рода нигилизма и русская слава обратилась для нас в дым.

Интересно, что первый, кому довелось в этом случае отвесть разочарования, был сам Державин. В его «Записках» есть необыкновенно добродушное место, в котором он объясняет, как в последние годы царствования Екатерины (1795—1796) исчез у него его бывалый восторг. Вот это место:

«По желанию императрицы, чтоб Державин продолжал писать в честь ее более *в роде «Фелицы»*, хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оно сдержать по причине разных каверз, коими его беспрестанно раздражали; не мог он воспламенить так своего духа, чтобы *поддерживать свой высокий прежний идеал*, когда вблизи увидел *подлинник человеческий с великими слабостями*; сколько раз ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен. Все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства» («Записки Державин», стр. 379).

Как видно, прекрасно сознавал Державин, что прежние его произведения были не *цеховые*, а внушенные искренним вдохновением, и живо чувствовал, что это вдохновение рассеялось от столкновения с действительностью.

Но до полного сознания дела было еще далеко. К этому времени, к концу державинского поприща, относится и мнимое богатство нашей литературы, то время, когда она представила образцы *во всех родах*. У нас появились эпические поэмы, трагедии, басни, идиллии и проч., и проч., и мы вдруг оказались обладающими литературою в полном составе.

По-видимому, все это совершалось под сильнейшим влиянием Европы, все исходило из петровского преобразования, все следовало примеру и образцам иностранных писателей; а между тем в действительности тут была своеобразная жизнь, для которой европейские формы были лишь внешнею, несущественною оболочкою. Настоящее влияние Европы началось лишь со времен Карамзина. Карамзин был первый русский европеец. Что же он сделал? Его выступление на литературное поприще Ап. Григорьев рассказывает следующим образом:

«Посреди общества, упорно отстаивавшего свою исключительность и особенность, — является юноша с живым сочувствием ко всему доброму, прекрасному и великому, что выработалось в общечеловеческой жизни. Этот юноша стоит в уровне со всеми высокообразованными людьми тогдашней Европы, хотя и не понимает еще уединенных мыслителей Германии, не смеет еще вполне отдаться ее начинающим великим поэтам. Человек своей эпохи, человек французского образования, он, однако, уже достаточно смел для того, чтобы с весьма малым количеством тогдашних образованных людей поклоняться пьяному дикарю Шекспиру, достаточно проникателен, чтобы зайти поклониться творцу «Критики чистого разума»<sup>28</sup> и хоть о пустяках, да поговорить с ним... На все, что носилось тогда в воздухе его эпохи, отозвался он с сочувствием, и главное-то дело, что сочувствие это было сочувствие живое, а не книжное... В Европу из далекой гиперборейской страны впервые приехал европеец, и впервые же русский европеец передал своей стране свои русско-европейские ощущения, передал не поучительным, докторальным тоном, а языком легким, общепонятным... Точка, с которой передает он ощущения, действительно очень невысока; но зато она верна, она общепонятна, как самый его язык».

«Письма русского путешественника, а затем сентиментальные повести и сентиментальные же рассуждения Карамзина — перевернули нравственные воззрения общества, конечно, той части его, которая была способна к развитию. Понятно, что его деятельность возбудила сильный антагонизм во всем, что держалось крепко за старые понятия, антагонизм отчасти правый, но вообще слепой».

Сентиментальность Карамзина и его требования от русской жизни были совершенно те же, как, например, у Радищева. Как публицист и журналист, Карамзин проповедовал крайние идеалы, до которых достигла тогда европейская цивилизация. Но если так, то как же он мог стать русским историком? Как он мог слить такие непримиримые вещи, как русская жизнь и крайние требова-

ния европейской цивилизации? Каким образом, вместо того, чтобы в сравнении с этим идеалом отчаяться в своем народе и прийти к совершенному разрыву с ним, он стал его бытописателем, отыскал к себе сочувствие к его жизни? Тот же критик отвечает на это так:

«Карамзин, как великий писатель, был вполне русский человек, человек свой почвы, своей страны. Сначала он приступил к жизни, его окружавшей, с требованиями высшего идеала, идеала, выработанного жизнью остального человечества. Идеал этот, конечно, оказался несостоятелен перед действительностью, которая окружала великого писателя... В этой действительности можно было или только погибнуть, как Радищев, как более практический, чем Радищев, человек — Новиков, либо... не то, чтобы ей подчиниться, но обмануть ее.

Да... обмануть! Это настоящее слово.

И Карамзин это сделал. Он обманул современную ему действительность.

Он стал «историком государства Российского»; он, может быть, сознательно, может быть, нет — вопрос трудный для разрешения, ибо талантливый человек сам себя способен обманывать — он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории, он *первый* взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения.

Карамзин смотрит на события нашей истории точно так же, как современные ему западные писатели смотрят на события истории западного мира, иногда даже глубже их; это можно сказать без всякого народного пристрастия, потому что современные ему западные историки весьма неглубоко смотрели на прошедшее... В этом его слабость и в этом, если хотите, его сила, даже перед современниками. *В нем еще нет той мысли, что мы племя особенное, предназначенное к иному, нежели другие племена человечества.* Общие его эпохе идеи привносит он с собою в русскую историю, и это самое делает его историю, помимо ее недостатков, одним из вечных памятников нашего народного развития...

*Может быть, все изыскания Карамзина неправильны или должны быть дополнены; но все его сочувствия в высшей степени правильны, потому что они общечеловеческие».*

Итак, вот как совершился *обман*, которого непременно требовала жизнь, так как она не может развиваться среди полного разрыва, полной дисгармонии. Обман состоял в том, что просветленные общечеловеческими идеями русские люди находили в своей жизни отражение этих идей, закрывая глаза на противоречия и диссонансы. Этот период обмана продолжался долго, был оби-

лен талантами и выражал свое настроение разнообразнейшими формами. Немецкая Ленора без малейшей трудности обращалась в русскую Людмилу или Светлану<sup>29</sup>; мы воспевали наших чужок так, что они нам казались

Гречанок Байрона милей<sup>30</sup>.

В это время не могло существовать ни славянофилов, ни западников; мы спокойно причисляли себя к семье западноевропейских народов и в самой этой семье не делали никаких значительных различий. Мы писали свою историю точно так, как ее пишут европейские народы; мы искренно отзывались на все звуки европейской поэзии, сочувствовали Шиллеру, Байрону и облакали нашу собственную действительность в формы сочувственных нам явлений.

И вот наступил, наконец, выход из этого обмана, выход, который, рано или поздно, должен же был наступить. Выход получился мудреный и многозначительный, так как это была развязка глубокого жизненного развития, а не простой логической ошибки. В одно и то же время выпало двоякое решение, положительное и отрицательное — в одно и то же время явились Пушкин и Чаадаев.

Явился, наконец, поэт, который завершил все предыдущее трудное и странное развитие, который вышел из неопределенного и призрачного восторга, нашедши в своей душе ясный и существенный восторг, который вышел из обманчивого взгляда на нашу жизнь, нашедши истинную русскую поэзию и умея глядеть поэтическими глазами на настоящую русскую действительность. Этот человек, столь сильно любивший истину и отверщавшийся от всякой фальши, столь зорко видевший вещи и в то же время всегда и до конца оставшийся поэтом, был Пушкин. Его воспитание и развитие, совершившееся в период обмана, под влиянием всяческих европейских образцов, от Вольтера до Байрона, способствовало только развитию в нем его поэтического дара, его зоркости и любви к правде, а истинно русская зоркость и правдивость сделали из него несравненного поэта, равного всему, что есть великого в поэтическом мире. Он принес нам чистейшую правду в поэзии, т. е. настоящую поэзию.

Но в то же время получился другой выход, другое решение. Умы более холодные, более теоретические шли своим, по-видимому, весьма правильным путем, и в то самое время, когда Пушкин узаконивал поэзию на русской земле, эти умы пришли к полному отрицанию русской жизни и, несмотря на то, что уже существовала обманчивая история Карамзина, не усомнились вычеркнуть жизнь русского народа из истории всемирного развития. Пред-

ставителем таких умов был Чаадаев, приятель Пушкина, хотя человек более зрелых лет. В сравнении с Европой Чаадаев признал ничтожною всю русскую жизнь, все задатки и плоды нашего развития и нашел, что для нас единственное спасение — перевоспитать себя, принять все от Европы, до глубочайших основ духовной жизни. Это был первый последовательный западник.

Чаадаев был то же в отношении к Пушкину, что Радищев в отношении к Державину. Как Радищев отнесся с величайшим отрицанием и унынием к действительности, вызвавшей столь громкий восторг Державина, так Чаадаев отнесся с сомнением и неверием к той духовной жизни, которая уже породила поэзию Пушкина. Эти люди, как легко убедиться, не были великими русскими писателями, а потому, по замечанию критика, об них нельзя с несомненностью сказать, что они были *вполне русские люди*, какими были Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин. Но это нисколько не мешает признавать за ними общечеловеческие достоинства и даже видеть в них людей настолько русских, что они, с большей или меньшей болью и горечью, чувствовали свое положение перед Европою, как русских, и старались понять его правильно, насколько бывает правильно отвлеченное понимание.

Радищев, впрочем, было явление слишком слабое и неглубокое; он не был зрелым плодом своего времени и исчез без влияния и последствий. Но ко времени Чаадаева та же мысль развилась и окрепла, и Чаадаев был уже отголоском значительной и лучшей части нашего общества.

С этого времени у нас постепенно развивались две партии, западническая и славянофильская; одна — требовавшая всецелого подчинения Европе, другая — стоявшая за нашу духовную самостоятельность.

Вот фундамент, на котором развивается наша литература, та почва, на которой она растет. Пушкин составляет звено, заключающее эту золотую цепь, венец этого основного развития; в его стихах, как справедливо заметил К. Аксаков, повторились звуки ломоносовских стихов<sup>31</sup>, а в элементах его поэзии заключаются все зачатки, которые с тех пор развиваются нашими художественными талантами.

Истинная поэзия чужда теории, чужда отвлеченных определений, так как источник ее есть жизнь, которая шире всяких теорий. Поэтому, например, нашу художественную словесность со времен Пушкина нельзя назвать ни славянофильскою, ни западническою, ни даже выражением борьбы этих направлений. Западники имели у нас большой перевес; они весьма настойчиво подводили наше развитие под свою точку зрения и проповедовали, что

наши художники служат их идее и потолику и хороши, поколику ей служат. Один из таких проповедников весьма немудрено определил всю суть нашей новой литературы<sup>32</sup>, сказавши, что Тургенев изобличил помещиков, Островский — купцов, а Некрасов — чиновников. Славянофилы с своей стороны подтверждали эти притязания тем самым, что отрекались от новой литературы и признавали ее деятелей лишь в виде исключения, иногда делавшегося очень неудачно. Это неясное, но во всяком случае враждебное отношение необходимо должно было усиливать притязания западников на господство их идей в нашей изящной словесности.

Но и те и другие были одинаково неправы, и легко было бы показать множество промахов с той и с другой стороны, доказывающих, что художественная деятельность, как более широкая в основах, ускользает от узких рамок этих теорий.

Идея западничества не могла вполне завладеть художественною сферою, но она свободно развивалась в других сферах литературы, в критике, публицистике, и наконец выродилась в интереснейшее явление — в нигилизм. Если хотите, нигилизм имеет и свои художественные отражения, но по сущности дела в них мы находим одну чистую видимость, скрывающую отсутствие всякого художества; ибо где нет жизни, там не может быть художества.

Как бы то ни было, но наши современные западники суть нигилисты; это — наши европейцы, искренно, добросовестно дошедшие до конца пути, им указанного и ими избранного, логически доведшие свою идею до крайних ее последствий.

Результат получился странный и неожиданный, но, в сущности, совершенно правильный. Западники начали с поклонения перед Европой и кончили тем, что стали отрицать формы европейской жизни, ибо стали отрицать вообще всякие сложившиеся формы, всякую историю. Это совершенно естественно. Они так наторели в отрицании форм русской жизни, довели свои приемы в этом деле до такой остроты и тонкости, что потом и западная жизнь не могла устоять перед этим изощренным оружием. Можно, впрочем, сказать иначе и в известном отношении правильнее: они довели свой взгляд на русскую жизнь до такого непонимания, до такой тупости, что потом естественно перестали понимать и европейскую жизнь.

Чаадаев с презрением смотрел на православие и преклонялся перед величием католицизма. Какая нелепость! Человек, благоговяющий перед католичеством, не впадает ли в явную нелепость, отрицая силу и жизненность православия? Не в тысячу ли раз по-



следовательнее тот, кто отрицая православие, в то же время отрицает католицизм?

Итак, тут есть своя логика, своя последовательность, и нигилизм есть одна из неизбежных степеней в развитии известных сторон русской литературы.

Таким образом, мы достигли современного положения дел. Более чем когда-нибудь выяснились ныне элементы нашего развития, более чем когда-нибудь мы чувствуем его странную шаткость и противоречивую многосложность. Сознание того, что нами еще мало сделано и что предстоит нам какая-то трудная и огромная задача, становится яснее и яснее. Мы видели степени, через которые проходило это сознание, и по этим степеням можем различать в истории нашей литературы следующие периоды:

1) Период восторга. Инстинктивное, неопределенное ощущение своей силы. Поверхностное или фальшивое знакомство с Европою.

2) Период обмана. Действительное знакомство с Европою и обманчивое примирение нашей жизни и ее идеями.

3) Пушкин. Эпоха, завершающая два предыдущих периода. В одно время: поэтическое признание русской жизни и ее теоретическое отрицание.

4) Западники и Славянофилы. Борьба между отрицанием русской жизни и признанием ее самостоятельности. В искусстве: развитие задатков, положенных Пушкиным.

5) Нигилисты. Отрицание русской жизни вместе с отрицанием европейской.

## V. НИГИЛИЗМ. ПРИЧИНЫ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СИЛЫ

Нигилизм есть явление нашей умственной жизни, представляющее великое множество безобразий. Всем известны эти безобразия, они описаны в повестях и романах; каждый о них рассказывает с разными добавлениями и вариантами.

Поэтому первое невольное отношение, в которое мы становимся к нигилизму, есть высокомерие. Мы обыкновенно смотрим на него презрительно, смеемся над ним как над детским неразумием или возмужалым сумасбродством.

Справедливо ли это? Справедливо ли судить о каком бы то ни было факте умственной жизни по одним его безобразным проявлениям? Самые безобразия, чем чаще и обильнее они происходят, — не свидетельствуют ли только о силе источника, из которого они истекают, не представляют ли очевидно крайностей, до

которых неизбежно должно вырождаться в иных последователях настроение, глубоко проникающее в умы?

Бедна наша литература, и скудно наше умственное развитие; но всего прискорбнее то, что мы вечно, то с той, то с другой точки зрения, плюем на эту литературу и на это развитие. Русский человек так или иначе всегда находит средство высочить из своей литературы и из своего развития, стать если не выше их, то в стороне от них и во всяком случае относиться к ним если не презрительно, то вполне равнодушно. Все это — явные признаки слабости нашей литературы и некоторой уродливости нашего развития, по которой оно никогда не достигает полного и всеобщего влияния, не имеет силы внушить к себе уважение всем и каждому.

Пушкин написал, что Ломоносов имел *вредное* влияние на нашу словесность<sup>33</sup>. Карамзина многие почитали и почитают также вредным писателем за проповедь истин вроде такой: «Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок» и пр., и вообще за весь тон его «Истории». Сам Пушкин, соблазн и камень преткновения для всяких теорий и просвещенных взглядов, должен быть признан вреднейшим из русских писателей, так как, по выражению одного критика, он *поэт эротический и военный*, следовательно, мешающий развитию всякого серьезного и как бы сказать гражданского чувства. А что такое славянофилы в глазах западников? Нелепые мечтатели. Что такое западники в глазах славянофилов? Неосновательные болтуны.

И так далее.

Принимая все это в соображение, имея в виду общую неправильность в развитии нашей литературы, всегдашнюю *косвенность* ее пути, и убедившись в то же время, что ее явления имеют, однако же, глубокий смысл, мало разумеемый и обыкновенно пренебрегаемый, мы вправе требовать серьезного отношения и к нигилизму, вправе ожидать, что в нем обнаружатся какие-нибудь немаловажные черты нашей духовной жизни и сделаны некоторые шаги в прогрессе нашего самосознания.

Прежде всего нигилизм есть некоторое западничество. Он возник под влиянием Запада, следовательно под тем влиянием, которое так давно и так сильно на нас действовало и постоянно действует. Напрасно у нас некоторые критики и публицисты, ради пущего унижения нигилизма, уверяют, что он есть наше доморощенное, туземное сумасбродство, что на Западе ничего подобного не существует, а все идет чинно, стройно и благополучно. Совершенно ясно, что умственные явления Запада дали точки опоры для развития нашего нигилизма, явления, давно там зародившиеся, имеющие силу и будущность и потому составляющие

постоянный источник, постоянную поддержку для нашего нигилистического движения. Нигилизм, какого бы оттенка он ни был, всегда характеризуется великим уважением к Западу, всегда имеет там каких-нибудь божков и оракулов, может быть, превратно понимаемых, но от всего сердца поклоняемых и славимых. Это та сторона нигилизма, в которой обнаруживается недостаток у нас самостоятельного развития — наше подчинение Западу.

Во-вторых, нигилизм есть не что иное, как крайнее западничество — западничество, последовательно развившееся и дошедшее до конца. В этом отношении он представляет действительный, неизбежный прогресс, и напрасно некоторые наши западники чураются нигилизма, утверждая, что и ныне, как встарь, можно питаться западными взглядами и идеями, нимало не впадая в нигилизм. Запад в умственном и нравственном отношении велик и многообразен. Следовательно, каждый может в нем выбирать себе по вкусу, чему следовать и подражать. На Западе много явлений отживших, межеумочных, фальшивых, но держащихся там в силу упорного консерватизма истории, консерватизма, свойственного исторической жизни, как вообще всякой жизни. Кто хочет, тот и теперь может преклоняться перед католицизмом, и такие поклонники, как известно, у нас еще не перевелись. Кто хочет, может и теперь следовать эклектической философии Кузена<sup>34</sup>; он найдет для себя по этой философии целую литературу, до сих пор процветающую. Кто хочет, тот может и теперь следовать правой гегелевской школе и толковать принцип: «что действительно, то разумно» в самом консервативном и ретроградном духе.

Но русская мысль не остановилась и не могла остановиться на этих и подобных умственных настроениях. Внутреннее расположение, естественное сродство тянули ее в другую сторону. Мы не жили исторической жизнью Запада, для нас не могли быть дороги формы, в которых она воплощалась. Эта жизнь являлась нам издали, в общем своем движении, в крупных и общих чертах, и, следовательно, по естественному ходу дел мы становились в отношении к ней в роль судей и созерцателей; мы были чужие для нее и смотрели на нее со стороны. Следовательно, нас должен был всегда привлекать некоторый *общий смысл* этой жизни, а никак не частные ее проявления.

Глядя на Запад, мы если преклонялись перед его духовною жизнью, то должны были последовательно отрицать всю русскую жизнь, весь ее смысл. Так поступил Чаадаев<sup>35</sup>, и не нужно забывать, что это естественная необходимая точка зрения. Полное признание с одной стороны требовало полного отрицания с другой. Отсюда уже можно было предвидеть, что это признание, по-

купаемое такую дорогою ценою, не может долго держаться и что если оно перейдет в сомнение, то не остановится на половине, а должно дойти до такого же полного отрицания.

Всматриваясь в общий смысл западной жизни, мы не могли не заметить той печати разрушения, которая лежит на ней, тех усилый отрицания, которые разъедают ее формы. В нашем положении мы не могли быть слепыми для этих явлений, и отрицание, развившееся на самой почве этой жизни, должно было привлечь наше полное сочувствие, так как мы у себя дома были также отрицателями. Человек, скептически относившийся к православию, по сущности дела не мог питать прочного благоговения к католицизму. Так и во всем остальном. Запад сам учил нас, что его формы преходящие, что все подчинено течению, изменению, прогрессу; и мы, столь жаждавшие изменений у себя дома, жадно прикнули к этому учению. Мы поверили всею душою теории прогресса, которая утверждала, что рано или поздно не останется в старой Европе камня на камне; мы не захотели исповедовать то, что должно было скоро отжить и разрушиться, а прямо прикнули к новому, к будущему, к надеждам и порываниям вперед.

В Европе, как известно, есть ряд писателей и деятелей, которые отвергают все принципы, служившие основою ее жизни. В Европе развилась *критика*, постепенно распространившая свою деятельность на все сферы, на все явления тамошней жизни. Мы быстро и верно усвоили себе все приемы этой критики, так как именно она представляла наибольшее сродство с нашим умственным настроением. Нельзя удивляться тому, что, например, со времен Чаадаева число поклонников католицизма нимало не возросло у нас, что, напротив, число последователей левой гегелевской школы<sup>36</sup>, Прудона<sup>37</sup>, Фурье<sup>38</sup> и т. д. становилось все больше и больше. Печальный, все отрицающий взгляд на человеческие отношения был нам больше по вкусу, чем какие-нибудь восторги перед явлениями нам чуждыми и не могшими вполне удовлетворить наших требований.

Собственно мы требовали от Европы полного нравственного мерила, полного всеразрешающего взгляда, совершенно твердого руководящего начала, а ничего подобного Европа нам дать не могла. Мы оказались в положении учеников, которые сперва твердо веровали в своих учителей, но мало-помалу разочаровывались в них и убедились, что ждать от них нам нечего.

Положение по сущности дела безотрадное; это полный мрак, безвыходное отчаяние. Между тем как Европа так или иначе жила своими старыми началами, мы уже не могли на них остановиться и успокоиться и остались без всяких начал, в непроницаемом

мраке. Сознание такого отчаянного положения выразилось у нас с большою силою. Сюда именно относится деятельность Герцена раньше издания «Колокола»<sup>39</sup>. Остроумная и глубоко грустная книжка «С того берега»<sup>40</sup> выражает как нельзя лучше положение русского, оторвавшегося от России и вполне убедившегося, что он не может примкнуть к Европе, что жизнь Запада не может его привязать к себе, не дает никакой пищи его душе. Герцен пророчит гибель западной цивилизации; это наш первый *отчаявшийся западник*.

Отсюда, казалось бы, прямой переход к признанию своей народности, к преклонению перед ее началами. Но жизнь идет медленно, и наши блуждания потому-то и имеют такую длинную и грустную историю, что вызваны нашими жизненными условиями, а не составляют простых теоретических ошибок.

Многих удивляло, что нигилизм у нас распространился и усилился тогда, когда в Европе были нанесены жестокие и почти уничтожительные удары социализму и всяческому радикализму. Но в том-то и дело, что нигилизм нельзя рассматривать как простое отражение на нас Запада, а следует видеть в нем чисто русское явление, возникшее только *под влиянием* западных явлений. Было бы очень плачевно, если бы наши умы представляли лишь простую косную массу, в которой каждое движение пропорционально толчкам, получаемым извне. Ради унижения нигилизма многие трактовали его как такое явление *костности* нашей умственной жизни. Нигилизм часто причисляется к *недоваренным объедкам чужих мыслей*; один наш знаменитый писатель видит в нем *изношенный башмак Фурье, который мы с благоговением пронесли на своей голове*.

Фурье! Этот писатель, сравнительно говоря, почти неизвестен в России; большинство приверженцев нигилизма, конечно, с изумлением должны узнать, что собственно он есть тайное божество, которому в сокровеннейшем святилище преклонялись главнейшие адепты нигилизма. Поэтому именно Фурье служит лучшим доказательством, что если для нигилизма необходим какой-нибудь идол, то, однако же, свойства самого идола тут ничего не значат и исповедание веры от него почти не зависит. Учения, признаваемые поклонниками, создаются ими самими, и они готовы потом удивляться, если им докажут, что того или другого из этих учений не признавали их идола.

Нигилизм есть отрицание всяких сложившихся форм жизни, отрицание, которое мы, в силу особенного нашего развития, заимствовали из Европы преимущественно перед многим другим

и которое, в силу тех же особенностей развития, стало у нас хроническим.

Как мысль, органически привившаяся, нигилизм органически и развивается, изнутри, собственной силою, не требуя стороннего руководства и поддержки, а нуждаясь только в пище, которую он уже способен претворить в свою плоть.

Этою пищею может служить и Фурье, но могут служить и преимущественно служат другие писатели, часто, по-видимому, совершенно чуждые духу нигилизма. Невозможно не удивляться той чуткости, которую нигилизм обнаруживает в своих симпатиях и антипатиях к западным писателям; он всегда верно угадывает те книги, в которых есть для него питательные соки. Так, между прочим, сочувствием нигилизма пользуются английские мыслители за свой скептицизм и эмпиризм, хотя в других отношениях они бесконечно далеки от дерзостей нигилизма. Многие упрекали нигилизм за эти и подобные противоречия, упуская из виду, что таким образом они нападают на организующую силу этого настроения.

Нигилизм есть прежде всего и главное всего — отрицание; это его основная и здоровая, правильная черта. Все, что может служить опорой для отрицания, все, что дает отрицанию разумность и право, все идет впрок нигилизму, составляет его законную пищу, законный источник. Русская жизнь, которою в сущности дела вызывается это отрицание, вызывает его с двух сторон. Слабость нашего духовного развития, неясность, неформулированность его глубоких основ внушают смелость отрицать эти основы, отвергать их состоятельность в силу тех требований и задач, с которыми мы, по-видимому, имеем полное право приступать к ним. С другой стороны, безобразия, которыми преисполнена русская жизнь, составляют еще более распространенную и общедоступную пищу отрицания. Можно сказать утвердительно, что каждое безобразие, творимое ныне на русской земле, имеет своим непосредственным следствием, между прочим, и усиление нигилизма, отражается в его пропорциональном наращении.

Эта здоровая сторона нигилизма не должна быть упускаема из виду. Скептицизм, недоверие, отсутствие наивности, насмешливость, бездеятельная, но умная леность — все эти черты русского характера находят здесь себе исход.

Но тут же обнаружилось и другие, более плачевные черты: в русской натуре есть задаток глубокого цинизма, составляющего как бы противовес чистому и высокому энтузиазму, тоже несомненно таящемуся в русских душах. Совершенно ясно, что в русском характере лежат какие-то непримиренные требования, ка-

кие-то одно другому противоречащие стремления. Трудно нам проникнуться к чему-либо пламенным восторгом, и ядовитая струйка северного холода готова примешаться к каждому нашему увлечению.

Холодность, доходящая до цинизма, до отрицания всех теплых и живых движений души человеческой, составляет ту почву, на которой удобно укрепились и разрослись известные учения нигилизма. Непонимание искусства составляет здесь явление, параллельное глубокому непониманию жизни. Целые ряды человеческих чувств и отношений занесены нигилизмом в разряд фальшивых явлений; все индивидуализирующая, фигурная, цветная сторона жизни подвергается отрицанию. Весьма замечательно, что с понятием такой обесцвеченной и обезличенной жизни у нас сочетался некоторый эвдемонизм<sup>41</sup>, детское представление, будто жизнь, лишенная свой формирующей силы, не имеющая никаких центров тяжести, чуждая всяких красок и всякой перспективы, будет легче, спокойнее, радостнее.

Эти бледные фантазии, может быть, составляют только доказательство того, как бледна, как мало имеет нормального содержания действительная жизнь, среди которой они возникают. Вообще, в целом нигилизм представляет в себе много молодого, так как молодость предполагает незнакомство с жизнью. В нигилизме отразилось то, что мы еще чужды настоящей жизни, политической, общественной, научной, художественной и проч.

Итак, нельзя не видеть, что нигилизм хотя развился под влиянием Запада, но главные свои условия нашел в особенностях нашего внутреннего развития. Самая лучшая и самая важная его сторона есть попытка *освобождения ума* от тех уз, которые тяготеют над русским человеком. Очень смешны все эти господа, решающие ныне всяческие вопросы собственным умом; весьма нелепы решения, к которым они приходят; но самый принцип, порождающий эти дикие попытки, нисколько не смешон и не нелеп. Жизнь требует какого-нибудь выхода. Ужели можно было ждать чего-нибудь нормального и красивого от людей, разорвавших связь со своею историею и народностию? Подчинение чужой истории, чужой духовной жизни, как, например, сделал Чаадаев, не есть выход, а только продолжение той же нелепости, того же разрыва. Волей-неволей приходилось равно оттолкнуть от себя и ту и другую сторону, остаться на воздухе, между небом и землею, и мечтать о переселении на луну или, по крайней мере, на необитаемый остров, где бы можно было навести новое человечество.

Положение дикое, но неизбежно требуемое ходом дела и представляющее шаг вперед в нашем мудреном развитии.

## VI. НЕЧТО О ПУШКИНЕ,

## ГЛАВНОМ СОКРОВИЩЕ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бедна наша литература, но у нас есть Пушкин.

Пока будет существовать русский народ и русский язык, и даже более — пока «жив будет хоть один пиит», пока для людей будет существовать поэзия, до тех пор будут говорить о Пушкине, до тех пор люди будут погружаться в созерцание этого удивительного светила, услаждать и просветлять свою душу его чистыми лучами, его безусловно ясным сиянием.

Есть нечто безумное (скажем высоким слогом, чтобы не употребить других слов, может быть, более точных и справедливых, но не гармонирующих с важностью предмета, о котором мы говорили), есть нечто поразительно безумное во многих суждениях и толкованиях, которым подвергался Пушкин в нашей — как бы сказать? — *действовавшей* литературе, той части литературы, которая, исполнившись непобедимой веры в свои силы и свое призвание, принялась все решать вновь, взяла на себя установить надлежащий взгляд на все вещи в мире, а между прочим и на русскую литературу. Не всегда следует быть строгим к суждениям людей; мы даже впадем в смешное, если слишком усердно будем гоняться за несостоятельностью этих суждений. Гораздо полезнее и правильнее искать в каждом суждении истинных его поводов и, следовательно, правдивой его стороны. Человек, даже мало развитый и проницательный, если судит искренно и добросовестно, все-таки касается какой-нибудь действительной черты обсуждаемого предмета, так что при надлежащем внимании можно дать его суждению совершенно здравое истолкование. Но, разбирая суждения о Пушкине, о которых мы завели речь, почти нет возможности стать даже и на такую точку зрения.

Прежде всего, здесь вас поражает безмерная диспропорция между предметом этих суждений и силами и приемами судящих. С одной стороны, вы видите явление громадное, глубокое, ширящееся в бесконечность, явление, в котором отзывается вечная красота души человеческой, воплощаются ее беспредельные стремления; с другой стороны, вы видите людей с микроскопически узкими и слепыми взглядами, с невероятно короткими мерками и циркулями, предназначенными для измерения и оценки великого явления. Эти люди, очевидно, лишены всяких средств справиться с задачей, которую они себе предлагают. И вот почему их усилия, дерзкие, самодовольные, а в действительности невозможные и нелепые, производят впечатление безумия.



В наш многоумный век непонимание великого часто также идет за признак ума; между тем, в сущности, не составляет ли это непонимание самого разительного доказательства умственной слабости?

Из всех явлений русской жизни Пушкин всего настоятельнее требует такого отношения к себе, какого требует вообще поэзия, искусство, красота, т. е. прежде всего — *созерцания*. Полемицировать с Пушкиным, как это делали некоторые из наших новейших критиков, есть великая нелепость; больше чем кого-нибудь Пушкина следует *изучать*, и тот отнесется к нему всего правильнее, кто всех больше извлечет из него поучения, кто всех больше найдет в нем откровений, указаний на глубокий и сокровенный смысл явлений души человеческой вообще и русской души в особенности.

Так как все у нас забывается, все быстро изглаживается из памяти, так как умы наши, слишком подавленные многообразными заботами, слишком развлеченные постоянно надвигающимися, в различных видах и формах возобновляющимися задачами, редко пользуются тем состоянием спокойствия, которое необходимо для остановки на прошлом и правильной его оценки, то мы считаем нелишним указать здесь некоторые черты исторического и векового значения Пушкина.

Мы вообще мало верим в себя и до сих пор принуждены отдавать себе отчет в своих силах; даже столь яркое явление, как Пушкин, не составляет для нас твердой точки опоры; так, сомневаясь в своем духовном значении для наших братьев славян, мы сделали предположение, что, может быть, они превзойдут нас в поэзии и что тогда, может быть, «стихи Пушкина вместе с его прозой нами же самими будут отнесены в разряд ученических попыток, не достигших умения владеть вполне образованной речью!»

Превзойти Пушкина! Отодвинуть его произведения в разряд *ученических попыток*! Подобная вера в быстроту и силу человеческого прогресса, подобный нигилизм в отношении к драгоценнейшим произведениям нашей литературы едва ли, однако ж, многих поразит изумлением в надеждающей степени. Такова у нас слабость сознания нашей духовной жизни, такова шаткость во взглядах на нее. Немногие чувствуют, а еще менее знают, что Пушкина отодвигать *некуда*, что затмевать его невозможно, что самые эти выражения, взятые из ходячих формул прогресса, непристойны в суждениях о предметах этого рода. Виктор Гюго в своей книге о Шекспире<sup>42</sup> утверждает, что великие поэты должны быть признаваемы *равными* между собою. Хотя это все-таки формула, но

она несравненно ближе к истине, чем размещение поэтов по некоторой лестнице превосходства и преемственной последовательности.

Но немногие у нас признают, что Пушкин великий поэт, что для оценки его необходимо подниматься на эти возвышенные точки зрения. Возьмем сперва внешнюю сторону. Мы, по-видимому, еще не считаем свой литературный язык вполне готовым орудием для воплощения высоких созданий духа. Если можно было сделать предположение, что стихи и проза Пушкина не достигают *полного умения владеть образованной речью*, то, значит, подобного умения вообще еще не достигла русская литература.

Эта мысль не только возможна, но многие весьма искренно ее исповедуют. В языке у нас, по-видимому, существует значительная разноголосица, и разные попытки обновить язык, внести в него ту или другую струю как будто доказывают, что наш литературный язык еще не установился. Подобное мнение нам кажется весьма неправильным. Ту свободу, которую пользуются наши писатели в отношении к языку и которая доказывает полную зрелость этого языка, они все еще по старой привычке принимают за признак несовершенства языка, за признак его неустановленности.

Приведем здесь слова одного из известнейших наших филологов<sup>43</sup>, весьма определенно указывающие на состояние нашего литературного языка и на значение Пушкина в этом языке. Вот что было сказано лет двенадцать назад:

«В поэтическом слове Пушкина пришли к окончательному равновесию все стихии русской речи.

Изыщество речи Пушкина вышло не из хаоса. Хаос прекратился до него, и уже до него возник стройный и правильный порядок. Но в деятельности нашего поэта окончилось развитие этого порядка; в ней, наконец, успокоился внутренний труд образования языка; в Пушкине творческая мысль заключила ряд своих завоеваний в этой области, разделалась с ней и освободилась для новых задач, для иной деятельности. Настоящий русский язык есть уже язык совершенно создавшийся, принявший все впечатления обрабатывающей силы и дающий полную возможность для всякого умственного развития.

Русский язык, слава Богу, окончательно образовался и не нуждается ни в каких блюстителях. Писатели, которые в настоящее время грешат против духа и законов языка, вредят только своей мысли: языку же вредить отнюдь не могут, и заботы о нем совершенно излишни.

Гением Пушкина завершен ряд славных усилий, которые дали русскому слову силу всемирную, силу служить прекрасным орудием духу жизни и развития.

Первый и главный признак полного равновесия, в какое поэзия Пушкина привела все стихии русской речи, видим мы в совершенной свободе ее движений.

У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись в одну речь и церковнославянская форма, и народное речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное мыслью как ее собственное, ни одному языку исключительно не принадлежащее и всеми языками равно признанное выражение» («Русск. вестн.», 1856, кн. 2).

История нашей литературы после Пушкина как нельзя лучше подтверждает эти положения. Никаких существенных перемен не произошло и в нашем языке; нельзя указать в нем никакого нового периода, хотя бы слабо отличающегося от предыдущего. Последняя повесть Тургенева<sup>44</sup> писана вполне пушкинским языком, а всяческие отступления и новаторства, ныне очень обыкновенные в литературе, суть очевидно только колебания в пределах той же меры, той же основной гармонии, которая найдена Пушкиным. Ныне очень часто пишут и переводят языком, напоминающим докарамзинское время; другие, избегая этой мертвенной книжности, до того переполняют речь изысканно русскими оборотами и словами, что их читать невозможно (Кохановская<sup>45</sup>, Бицын<sup>46</sup>). И то и другое составляет умышленное или неумышленное нарушение надлежащей меры нашего литературного языка, меры не предполагаемой, не составляющей некоторого недостижимого будущего, а уже существующей, уже указанной ясными чертами в произведениях Пушкина.

Обратимся теперь к внутреннему значению Пушкина. Оно вполне соответствует его значению в истории нашего языка. Мы приведем здесь свидетельство одного знаменитого немецкого критика Варнгагена фон-Энзе. Суждения этого критика в этом случае тысячекратно основательнее, чем наших отечественных мыслителей (за исключением одного, о котором со временем мы скажем подробно и ясно, как всегда следует говорить для наших читателей)\*. Но, кроме того, суждения этого немца отличаются такой очевидной искренностью, таким избытком глубокого и самостоятельного убеждения, что более всяких других способны поразить понимающего читателя.

\* Аполлона Григорьева.— Позднейш. примеч.

Варнгаген фон-Энзе говорит, что в Пушкине явилась на свет русская поэзия<sup>47</sup>, которой до тех пор не существовало. «Мы можем видеть на себе,— прибавляет он,— как долго может замедлиться развитие этого цветка, при роскошном процветании других сторон народной жизни: наша поэзия со вчерашнего дня; до Гёте и Шиллера немцы не имели поэта — выразителя их совокупного образования во всей его целостности».

Что для немцев Гёте и Шиллер, то для нас Пушкин; то есть, во-первых, он поэт в высшем смысле слова; он, по выражению Виктора Гюго, принадлежит к сонму «равных», а во-вторых, поэтому самому он «поэт оригинальный, поэт самобытный». На этом втором положении критик останавливается с особенной настойчивостью, как на весьма существенном, тем больше, что, по его словам, «русские сами, по скромности или осторожности, нередко называют Пушкина подражателем», и он находит, что «они уже слишком далеко простерли эту скромность или эту осторожность».

Критик постарался вследствие этого характеризовать особенность пушкинской поэзии, и вот эту-то характеристику, составляющую лучшее и центральное место статьи, мы и напомним читателям. Сопоставляя Пушкина с Байроном и Шиллером, Варнгаген фон-Энзе говорит:

«В нем та же противоположность и раздор мечты с действительностью, та же тоска, то же полное сомнений уныние, та же печаль по утраченном и грусть по недостижимом счастья, та же разорванность и величественная, великодушная преданность — все эти качества, особенно преобладающие в Байроне. Но *главное, существенное свойство Пушкина*, отличающее его от них, состоит в том, что он живым образом слил все исчисленные нами качества с их решительной противоположностью, именно — с *свежею духовною гармониею*, которая, как яркое сияние солнца, просвечивает сквозь его поэзию и всегда, при самых мрачных ощущениях, при самом страшном отчаянии, подает утешение и надежду. В *гармонии*, в этом направлении к мощному и действительному, укрепляющем сердце, вселяющем мужество в духе, мы можем сравнить его с Гёте. Истинная поэзия есть радость и утешение, и для того, чтобы быть этим, она нисходит до всех страданий и горестей. Укрепляющую, живительную силу Пушкина испытает на себе всякий, кто будет читать его создания. *Его гений столь же способен к комическому и шутивому, сколько к трагическому и патетическому; особенно же склонен он к ироническому, которое часто переходит у него в юмор, в благороднейшем смысле этого слова.* Светлая гармония, бодрое мужество составляю основу его поэзии, основу, по которой все другие его свойства

пробегают, как тени, или, лучше, как оттенки. Его характеру вполне *равновесно его выражение: везде быстрая краткость, везде свежий, совершенно самостоятельный, сосредоточенный образ, яркая молния духа, резкий оборот. Мало поэтов, которые были бы так чужды, как Пушкин, всего изысканного, растянутого, всякого соп атоге*<sup>48</sup> *набираемого хлама.* Его естественность, довольствующаяся самым простым словом, быстро схватывающая каждый предмет; его могучее воображение, полное согревающей теплоты и величия; его то кроткое, то горькое остроумие — все соединяется для того, чтобы произвести самое гармоническое, самое благотворное впечатление в духе беспрерывно занятого и беспрерывно свободного, ни минуты не мучимого читателя».

Вот страница, которая, можно предполагать, навсегда свяжет имя немецкого критика с именем нашего великого поэта. Каждый, кто знаком с Пушкиным, даже не глубоко, согласится, что черты этой яркой характеристики вполне идут к прекрасному образу пушкинской поэзии. Заметим поразительное обстоятельство. Из слов Варнгагена фон-Энзе ясно видно, что и по духу, и по форме эта поэзия всего ближе подходит к идеалу *истинной поэзии*, что в нем самый чистый (наиболее гармонический) дух воплотился в самой чистой форме. И таково действительно значение Пушкина для всякого, кто успел понять и полюбить его. Как бы ни были величавы и многозначительны произведения других поэтов, Пушкин для каждого понимающего есть поэт *несравненный*, так сказать, самый поэтичный из поэтов.

Заметим еще также, что в Пушкине, как в величайшем представителе нашей литературы, отразились все черты, характеризующие нашу литературу. Способность Пушкина к шутливому и ироническому, способность, очевидно, поразившая Варнгагена фон-Энзе в таком возвышенном и нежном поэте, есть общая особенность, общая сильная струна нашей литературы, столь не терпящей ничего пресного и столь любящей лить слезы сквозь видимый миру смех. Точно так *быстрая краткость выражения, свежесть образов, естественность, довольствующаяся самыми простыми словами*, все эти качества до сих пор составляют заметное и сознательно ценимое достоинство наших писателей. Даже самые маленькие из них не любят ничего изысканного, растянутого, никакого соп атоге набираемого хлама. Вследствие этого общего свойства наша литература вообще отличается малым объемом, быстрою краткостью своих произведений и периодов. Содержание ее гораздо глубже и значительнее, чем можно подумать, судя по ее малому объему, по ее скупости на форму, на выражение.

Но обратимся к Пушкину. Ему не чуждо было сознание своего величия. Этому простому человеку (одному из простейших, какие были в мире, по замечанию некоторого критика), добродушно признававшему себя орудием какой-то высшей силы, должно быть, иногда странно было чувствовать себя так высоко. По временам, однако же, он ощущал в себе такую могучую уверенность, так свободно носились его крылья по чистой эфирной области, которой он был жителем, что душа его наполнялась гордой радостью, и он невольно бросал со своих высот на другие умы взгляд, так сказать, играющий высокомерием.

В одно из таких времен добродушный Пушкин написал две пародии, именно «Летопись села Горохина»<sup>49</sup>, пародию на «Историю государства Российского» Карамзина, и так называемые второе и третье «Подражания Данту», составляющие пародию на «Ад» «Божественной комедии» Данте. Сколько помнится, никогда не было указано на такое значение этих произведений; между тем оно несомненно, и мы указываем на него как на свидетельство тех проблесков сознания своего величия, которые в этом случае, то есть у Пушкина, доказывают самое величие.

Но скажем прежде несколько слов о том, что такое пародия. Читатели, привыкшие к современным ходячим пародиям, пожалуй, видят в них что-то не совсем хорошее и готовы будут найти, что мы не делаем чести Пушкину, приписав ему охоту упражняться в этом роде поэзии. Пародия составляет нынче большею частью bestialное глумление над пародируемым произведением, состоящее в бесцеремонном искажении его смысла, тона и духа. Это дело легкое и бесплодное, в котором талант заменяется грязным воображением, одевающим в пошлость все, что ни видит перед собою.

Не такова настоящая поэтическая пародия. Она требует глубокого и строгого проникновения в дух и манеру писателя, который пародируется. Чем ближе пародия к подлиннику, тем она выше. Во-вторых, такая пародия требует полного и меткого указания тех противоречий, которые пародируемый писатель представляет в отношении к действительности или к идеалу; следовательно, такая пародия требует ясного понимания этой действительности, этого идеала; она вызывается этим пониманием и служит для его выражения и прояснения. Таким образом, из-за настоящей пародии должен выглядывать тот взгляд на предмет, то лучшее и высшее его понимание, против которого фальшивит пародируемый автор.

В таком смысле, как обличение фальши перед истинною, пародия есть вполне поэтическое дело, вызываемое действительною

поэтической потребностью и требующее высокого таланта. И в этом смысле пародии Пушкина суть произведения удивительные по глубине и мастерству, лучшие пародии, какие когда-либо были писаны.

Сделаем еще отступление. Пародии Пушкина писаны в 1830 году, в самом плодотворном году его деятельности. По мнению П. В. Анненкова, впрочем, пародия на Данте писана несколько позднее, в 1832 году. Но Пушкин до конца своей жизни никогда не думал печатать этих *странных* произведений, и они явились только после его смерти в «Современнике». Мы знаем, что в последнее свое время Пушкин вообще боялся публики, поэтому медлил с печатанием своих вещей или употреблял разные уловки и предосторожности, чтобы охранить себя от неблагоприятных суждений. В отношении к пародиям можно почти наверное сказать, что они сделаны им только для себя. Это была свободная игра его могучего гения, смысл которой едва ли был доступен для его читателей.

Таким образом, эти произведения составляют одно из указаний на те широкие размахи, к которым способен был Пушкин, на те глубокие и трудные задачи, которых он касался смело, как власть имущий. Подобных гениальных попыток немало у Пушкина, и они могут представить для нас высокое поучение, если мы уразумеем их в настоящем смысле.

Не имея в виду изложить здесь полный анализ двух пародий, о которых мы говорим, приведем, однако же, некоторые доказательства своего мнения.

«Летопись села Горохина» писана языком карамзинской «Истории», этим знаменитым слогом, в котором русская проза впервые зазвучала несколько искусственною и монотонною, но ясною мелодиею. Расположение пародии напоминает первый том «Истории государства Российского». Вступление соответствует предисловию. От стихов и повестей Белкин, подобно Карамзину, перешел к истории, и перешел с теми же чувствами. «Мысль,— пишет Белкин,— оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования великих и истинных происшествий давно тревожила мое воображение» (т. IV, стр. 223). Так смотрел и Карамзин. «И вымыслы нравятся,— говорил он,— но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина» (Предисл., X). Взгляд на значение истории у обоих совершенно одинаков. «Быть судьей, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшей степенью, доступной для писателя». Так пишет Белкин, и так же начинает Карамзин: «История есть священная книга на-

родов, главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил» и пр.

За вступлением следует список источников, как и у Карамзина; затем «Баснословные времена», соответствующие первой главе, и «Времена исторические», соответствующие третьей главе первого тома «Истории государства Российского».

Всего яснее параллельность двух последних частей. Карамзин всячески восхваляет древних славян; тем же хвалебным тоном пишет Белкин о своих горохинцах.

Карамзин: «Славяне имели в стране своей истинное богатство людей: тучные луга для скотоводства и земли плодородные для хлебопашества, в котором издревле упражнялись» (стр.64).

Белкин: «Издревле Горохино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. На тучных его нивах рожь, овес, ячмень и гречиха».

Карамзин: «Греки, осуждая нечистоту славян, хвалят их стройность, высокий рост и мужественную приятность лица. Загорая от жарких лучей солнца, они казались смуглыми, и все без исключения были русые» (стр.55).

Белкин: «Обитатели Горохина, большею частию, роста среднего, сложения крепкого и мужественного; глаза их серые, волосы русые или рыжие».

Карамзин: «Поляне были образованнее других». «Древние славяне в низких хижинах своих умели наслаждаться действием так называемых искусств изящных. Волынка, гудок и дудка были также известны предкам нашим: ибо все народы славянские доньше любят их» (стр. 69).

Белкин: «Музыка была всегда любимое искусство образованных горохинцев; балалайка и волынка, улаждая чувства и сердце, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою».

Но еще сильнее, чем в отдельных чертах, в общем тоне «Летописи села Горохина» чувствуется удивительно схваченная манера Карамзина; перечитывая потом первый том «Истории», нельзя не чувствовать глубокой фальши, в которую впал Карамзин, резко и потому смешного противоречия между предметом и изложением.

Итак, вот что сделал Пушкин. Он позволил себе лукавую и веселую дерзость, далеко превосходящую дерзости современных нам нигилистов. Он решился подсмеяться над нашими летописями и над великим трудом Карамзина, без сомнения, величайшим произведением русской литературы до Пушкина.



Но какая разница между взглядом поэта, умеющего видеть больше других людей, и тупым отрицанием, опирающимся на одно непонимание! Сквозь насмешки Пушкина сквозит истина дела; как живое, встает перед нами Горохино, и вы начинаете догадываться, в каком правдивом свете можно бы изложить историю наших предков. Карамзин, очевидно, употребил для этой истории чужие мерки, облек ее в ложные краски; Пушкин глубоко почувствовал фальшь и попробовал сделать несколько штрихов, вполне верных действительности: контраст вышел поразительный.

Для наших историков «Летопись села Горохина» должна служить постоянным указанием на то, к чему они должны направлять все усилия при изображении далекой старины, людей и нравов, стоящих на совершенно иных ступенях развития, имеющих совершенно иные формы жизни. Всему своя мера.

Не так легко определить смысл пародии на Данта. Но что это действительная пародия, в этом легко убедиться. Кто читал, тот, конечно, помнит эти стихи с нестерпимо резкими образами:

И дале мы пошли — и страх обнял меня.  
Бесенок, под себя поджав свое копыто,  
Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто,  
И лопал на огне печеный ростовщик,  
А я: поведай мне, в сей казни что сокрыто?

Вергилий мне: мой сын, сей казни смысл велик.  
Одно стяжание имен везде в предмете,  
Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете.

Тут все дантовское: краски, обороты и в содержании — соответствие между казнью грешника и грехами, за которые эта казнь воздается. Для сравнения вот отрывок из XXI песни «Ада». Дант видит черного беса, который бежит «стуча копытами и хлопая крылами».

Взвалив себе на острие плеча  
И возле пят когтями вцепившись в кости,  
Он за ноги мчал грешника, крича:

«Вот старшина святые Зиты!»...

.....  
Швырнув его, умчался бес понурый,  
И никогда с такою быстротой  
За вором пес не гнался из конуры.

Тот вглубь нырнул и всплыл, облит смолой;  
А демоны из-под скалы висячей  
Вскричали: «Здесь иконы нет святой!»

.....

И сто багров в него всадили вмиг,  
Вскричав: «Пляши, где вар сильней вскипает  
И, если можешь, надувай других!»

Так поваренков повар заставляет  
Крючками мясо погружать в котле.  
Когда оно поверх воды всплывает.

(Перевод Д. Мина, XXI, 34—57)

Очевидно, поэтическое чувство Пушкина было оскорблено грубою материальностью этих картин, избытком в них ярких красок и резких движений, заслоняющих внутреннее содержание. В этом ощущении дисгармонии выразилась и разница между южной итальянской натурой Данта и северной природой нашего поэта, и, может быть, другая, еще более глубокая разница — между мирозерцанием Запада вообще и средних веков в особенности и мирозерцанием нашего времени и нашего русского духовного строя. В других, уже серьезных, а не пародических терцинах Пушкин, кажется, пробовал олицетворять свои собственные священные идеи, и тогда получались уже совершенно иные образы. Вспомните эту величавую жену, которую поэт видел так ясно:

Ее чела я помню покрывало  
И очи, светлые, как небеса.

Какая чистота линий, какое спокойствие и простота в этом образе, а между тем он исполнен невыразимого величия:

Меня смущала строга краса  
Ее чела, спокойных уст и взоров  
И полные святыни словеса<sup>51</sup>.

## VII. ВРЕДНЫЙ ХАРАКТЕР НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статья наша по необходимости вышла слишком отрывочна и несоразмерна в своих частях: причина этого в самом предмете, чрезвычайно трудном и вместе очень богатом. Мы не имели возможности сослаться на общепринятые истины, на ходячие результаты; приходилось или пускаться в подробные объяснения, или делать слишком общие и отрывочные очерки.

В заключение мы хотели поговорить о *вреде русской литературы* — тема необыкновенно интересная и поучительная, на которую уже мы намекали. Странное явление! Эта бедная литература имеет честь возбуждать к себе сильное враждебное чувство с самых противоположных точек зрения. Трудно даже сказать, есть ли люди, любящие и уважающие нашу литературу; люди же, питающие к ней вражду и считающие ее злокачественным эле-

ментом русской жизни, — налицо, и суждения их раздаются громко и часто.

Известна всем неприязнь, исповедуемая в этом отношении нашими ретроgrадами, людьми отсталыми и мало просвещенными. Для них литература есть источник великого зла; для них Гоголь и Белинский — развратители юношества, новейшие же писатели и того хуже. Естественно, что чем ретроgrаднее человек, тем дальше назад он простирает свое осуждение, так что для иного Лермонтов и Пушкин суть тоже легкомысленные и безнравственные писатели и т. д.

Совершенно в обратном порядке налагают тень осуждения на нашу литературу люди просвещенные и либеральные. Всего зловреднее для них кажутся самые старые писатели: Ломоносов, Державин; затем оценка их смягчается по мере приближения к нашему времени. Но закон и здесь тот же: чем просвещеннее и прогрессивнее человек, тем дальше вперед, тем ближе к настоящей минуте он подвигает роковую грань осуждения; есть такие, для которых эта грань уже захватывает Гоголя и Белинского, а многие подвинули ее и еще дальше.

Для наших отсталых людей наша литература давно уже сбилась с надлежащего пути и колесит Бог знает по каким трупам; для наших просвещенных людей она принялась за дело только со вчерашнего дня, а до тех пор стремилась к нелепым целям и только сбивала людей с толку. Таким образом, результат один: литература наша признается никуда не годною, в ней отрицается всякий прогресс, всякое живое начало, и каждый ее деятель подвергается одинаковому осуждению с противоположных сторон.

Как мы сказали, это делает великую честь литературе, ибо явно обнаруживает ее силу, глубину и самостоятельность ее движения. Ничего нет мудреного, что ни наши ретроgrады, ни наши прогрессисты одинаково не понимают дела, совершаемого литературою; понятно также, почему они всячески преследуют ее и унижают: она им мешает, заслоняет им свет.

Весьма интересно углубиться в различные проявления этой вражды, ибо в них мы нашли бы указания именно на те черты нашей литературы, которые не подчиняются узким и односторонним взглядам и особенно беспокоят враждующих. Мы думали здесь, в виде примера, остановиться на кратком очерке истории нашей литературы, который мы нашли в книге «Обзор истории славянских литератур» \*<sup>52</sup> и который показался нам весьма назидательным.

\* СПб., 1865.

Густою тенью покрыта в этом обзоре деятельность всех наших писателей, не исключая и Белинского, и того последнего периода нашей беллетристики, к которому относятся «Тургенев, Гончаров и прочие писатели этой школы». Вот как характеризуется этот период и эта школа: «В лучших людях уже созрела мысль о необходимости уничтожения крепостного права. Но затем это была едва ли не единственная ясно сознанная общественная идея этого времени; все другие общественные потребности вызывали в «лишних людях» только темные предчувствия, в которых они не могли дать себе отчета».

Если таков приговор над направлением Белинского и школою им воспитанной, то читатель легко представит, в каком виде изображена деятельность предшествовавших писателей. Она является в высшей степени бесплодною и ничтожною. Тень положена так густо, что вовсе невозможно различить одного времени от другого. «Новый период русской новой литературы,— говорит «Обзор»,— начинают с Карамзина и Жуковского». Но это, конечно, несправедливо, так как что же можно признать действительно новым в этой постоянной игре в бирюльки? И в самом деле, борьба, возбужденная «нововведениями Карамзина и Жуковского» состояла вот в чем: «...сантиментальная изнеженность одного и романтический туман другого казались ересью приверженцам старой торжественной оды», т. е., как говорится в другом месте, «наиболее ничтожной литературной формы». Одни пустяки сменились другими — вот весь смысл мнимого наступления нового периода.

Но оставим отдельные отрицательные черты, так щедро рассыпанные в небольшом очерке по всему поприщу нашей словесной истории, что много нужно бы времени, чтобы перебрать их все и взвесить надлежащим образом. Картина выходит туманная, бессвязная, в которой ничего разобрать нельзя вследствие избытка темных красок. Есть, однако же, упрек, который повторяется очень часто в этом очерке, прилагается к писателям различных времен и потому, как нам кажется, бросает некоторый свет на всю картину, несколько связывает ее разрозненные части. Именно, почти всех наших главных писателей «Обзор» завиняет — в чем бы вы думали? — в некотором *славянофильстве*. Так, о *Фонвизине* сказано, что он «из чисто славянофильских тенденций бранит Западную Европу». Весьма резкий приговор над Карамзиным завершается словами: «В нем были уже задатки настоящего славянофильства». О Пушкине, не оправдавшем надежд, поданных им в молодости, говорится: «В позднейшую эпоху деятельности у Пушкина начинают высказываться вещи, которые потом назывались славянофильством». С Гоголем случилось то же

самое: он тоже подчинился «влиянию известных тенденций» и «вздумал поставлять читателю мнимые русские идеалы».

Преинтересные замечания! Автор, к сожалению, бросил их вскользь и не заметил, что они сливаются в нечто целое. Открыв столь важное явление, можно было бы проследить его дальше; не отзывается ли славянофильство и у других наших писателей? Нам кажется, следы его есть и у Лермонтова, и у Грибоедова, и у многих других. Таким образом, славянофильство составляет, может быть, общий характер нашей литературы — вывод необыкновенно важный, если бы он подтвердился основательными исследованиями. Если наша бедная литература имеет какое-нибудь значение, то славянофилы, конечно, были бы вправе гордиться подобным открытием; для них было бы лестно убедиться, что каждый замечательный русский писатель был более или менее славянофилом, что если иные из них вначале шли по другому направлению, то под конец все-таки приходили к тому же славянофильству.

С другой стороны, если бы это было справедливо, то стало бы совершенно понятно, почему люди иных убеждений смотрят так неблагосклонно на историю русской литературы, не признают в ней никакой жизненности и отрицают значение наших писателей. Если каждый из деятелей, создавших наш язык и нашу литературу, был более или менее славянофилом, то люди, для которых славянофильство — соблазн и безумие, не могут признавать за этой литературой живого содержания и живого развития.

Итак, вот еще черта глубины и самостоятельности нашей литературы. Ее содержание, ее стремления и задачи гораздо обширнее и важнее, чем думают многие ценители; западники находят ее славянофильской, славянофилы — западнической; но она ни то ни другое.

На прощанье мы желаем поздравить читателя с тем оживлением литературной деятельности, которое предстоит в наступающем году. Появятся новые журналы, старые обновляются. Пусть гг. фельетонисты, упрекавшие нас за твердую уверенность в безостановочном развитии нашей литературы, сознаются теперь, как они были неправы. Блистательное превращение, совершающееся в настоящую минуту, не показывает ли, что мы обильны силами, стремлениями, деятельностью? Как только явился случай, представилась возможность, целые ряды умственных деятелей выступили на общественное поприще, и нет сомнения: новые, свежие, живые мысли польются непрерывным потоком. Фельетонисты должны со следующего года прекратить свои рыдания и жалобы на пустоту и бесплодие журналистики; эти строгие судьи не будут уже смотреть на журнальные книжки со своим обычным высоко-

мерием; напротив, будут приступать к ним с почтением и жаждою просвещения; каждый фельетон их теперь может начинаться словами: «При том блестящем положении, в котором находится наша журналистика, при обилии оригинальных и полных интереса явлений в этой области, мы затрудняемся» и пр.

Так идут дела в нашей литературе. Пусть теперь читатель сам решает: признак ли это действительного богатства или признак некоторой бедности нашей литературы? Наступает ли то новое, что мы пророчили в наших заметках, или это будет только повторение старого?

---

---

---

## КОММЕНТАРИИ

### БЕДНОСТЬ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Впервые опубликовано: *Страхов Н.* Бедность нашей литературы. СПб., 1868.  
Печатается по тексту этого издания.

#### I. РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОНЫ НАШЕЙ БЕДНОСТИ

<sup>1</sup> *«Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu».*— Это старая история, однако она остается вечно новой (нем.).— Строки из стихотворения Г. Гейне «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» («Lyrisches Intermezzo»).

<sup>2</sup> Слова Христа, обращенные к фарисеям, осуждавшим блудницу (Евангелие от Иоанна, VIII, 7).

<sup>3</sup> *Авантаж* (фр. *avantage*) — выгода, польза, благоприятное положение (уст.)

<sup>4</sup> *Аскоченский* Виктор Ипатьевич (1813—1879) — журналист, редактор журнала «Домашняя беседа», автор обскурантистских статей и антинигилистического романа «Асмодей нашего времени».

<sup>5</sup> *Скарятин* Владимир Дмитриевич — публицист, редактор газеты «Весть».

<sup>6</sup> *Потугин* — герой романа И. С. Тургенева «Дым».

#### II. О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, «НЕДОСТОЙНЫХ» ХОРОШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<sup>7</sup> Белинский цитирует «Отрывки из путешествия Онегина».

<sup>8</sup> У Страхова описка: в статье А. Ф. Писемского «По поводу сочинения Гоголя, найденного после его смерти, «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Часть вторая» (1855) было: «... пожелать всем вам...» (*Писемский А. Ф.* Полн. собр. соч. Изд. 3-е. СПб. — М., 1912. Т. 7. С. 458).

<sup>9</sup> Цитируются первые строки второго тома поэмы Гоголя «Мертвые души».

<sup>10</sup> Имеются в виду строки из «Путешествия Онегина»:

Смирились вы, мой весны  
Высокопарные мечташь,  
И в постичский бокал  
Воды я много подмешал...

<sup>11</sup> Цитата из поэмы Гоголя «Мертвые души».

<sup>12</sup> Строка из ломоносовской «Оды блаженные памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» (1739).

### III. СОВРЕМЕННАЯ БЕДНОСТЬ

<sup>13</sup> Имеется в виду книга русского историка, теоретика государства и права Чичерина Бориса Николаевича (1828—1904) «О народном представительстве» (М., 1866). В ней Б. Н. Чичерин (в свое время бывший любимым учеником Т. Н. Грановского и затем участвовавший вместе с К. Д. Кавелиным в издании политической литературы либерально-западнического направления) доказывал невозможность осуществить в России в ближайшее время конституционное устройство, высказывался за сохранение самодержавия, предлагая в то же время относительно либеральную программу деятельности правительства.

<sup>14</sup> Этот труд И. Канта в переводе М. Владиславлева был издан в Петербурге в 1867 году.

<sup>15</sup> Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист и писатель, литературный противник Пушкина.

<sup>16</sup> Известный русский историк Н. Костомаров считал, что принятое славянскими племенами название «Русь» происходит, как и ряд других имен и названий, от литовских топонимов и корней. Из Литвы («руси литовской») происходили, по его мнению, русские князья и часть русского населения («жмудь, жившая на берегах реки Руси»). Н. Костомаров изложил свою точку зрения в статье «Начало Руси» (Современник. 1860. № 1. С. 5—32), а затем на публичном диспуте (с М. Погодиным) 19 марта 1860 г. (Современник. 1860. № 3).

<sup>17</sup> «Египетские ночи» Пушкина читала на музыкально-литературном вечере 27 ноября 1860 г. в Перми некая Толмачева. Вскоре в газете «Век» (1861, № 8) появилась статья Виногорова (псевдоним П. И. Вейнберга), в которой автор называл безнравственным публичное чтение женщиной «Египетских ночей» и допустил ряд бестактных высказываний. Страхов отверг выдвинутые Виногоровым обвинения и указал на ложность его нравственной позиции. (См.: *Страхов Н. Один поступок и несколько мнений Камня Виногорова // Время. 1861. № 3.*) На статью Виногорова откликнулись также М. Л. Михайлов (С.-Петербургские ведомости. 1861. № 51) и Ф. Достоевский (Время. 1861. № 5).

<sup>18</sup> *Никита Безрылов* — псевдоним А. Ф. Писемского. Его фельетоны в «Библиотеке для чтения» в 1861—1862 гг. были направлены против выступлений «Петербургских ведомостей», «Северной пчелы», «Искры». Как писал П. В. Анненков, «Никита Безрылов усмотрел в противниках легкомысленные претензии овладеть литературой с помощью терроризации писателей; злобно смеялся над неразборчивостью средств, употребляемых ими для поддержки своего властолюбия, не оправдываемого ни талантом, ни познаниями, обличал комическую несостоятельность их мнений и приговоров (*Анненков П. В. Художник и простой человек // Писемский А. Ф. Полн. собр. соч. 3-е изд. Т. 8. СПб.; М., 1912. С. 766.*) Однако Писемский часто обращался к второстепенным чертам своих противников, был излишне раздражителен и не мог выйти победителем в борьбе с завоевавшим известную популярность «направлением умов».

<sup>19</sup> В 1863 г. Ученый комитет при министерстве народного просвещения завершил составление проекта нового устройства гимназий. «Московские ведомости» (в приложении «Современная летопись») после обсуждения проекта неоднократно выступали с резкой, но некомпетентной критикой проекта. Страхов в статье «Спор об общем образовании» (Библиотека для чтения. 1863. № 9) писал о бесплодности предпринятой полемики: «В ней не было положительных основ... она не



проповедовала того начала, на которое ссылалась, а только осмеивала защитников противоположного начала...». «Необходимость собственной мысли, собственной точки опоры, собственной руководящей нити совершенно очевидна. Чтобы прочным образом устроить воспитание, чтобы знать, как его вести, нужно иметь некоторую определенную идею воспитания (да вы не пугайтесь!). Вот этой-то идеи, признаюсь, напрасно искал в нашем знаменитом споре. <...> Чем усерднее ратоборцы ссылались на Европу, на Германию, на Англию, тем яснее они обнаруживали, что настоящего вождя, что собственной идеи воспитания у них не было». В конце статьи Страхов, несомненно памятуя о педагогических дискуссиях 1856—1857 гг. (см. об этом в следующем примечании), так излагает свой взгляд на главный принцип всякого воспитания: «Прежде всего нужно развить в ребенке все духовные человеческие силы, постараться развить их самым правильным и твердым образом; только таким образом мы можем получить самого *выгодного* человека, человека, наиболее пригодного для всякого рода приложений» (Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. СПб., 1890. С. 280—281, 286—287, 291).

<sup>20</sup> Статья выдающегося хирурга, педагога, общественного деятеля Пирогова Николая Ивановича (1810—1881). «Вопросы жизни. Отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициальными статьями «Морского сборника» о воспитании» была помещена в «Морском сборнике» (1856, № 9). Н. И. Пирогов указывал на волиющий разлад между высокими целями нравственного воспитания личности и «материальными стремлениями» современного общества. Главная идея Н. И. Пирогова состояла в том, что «общечеловеческое» образование и нравственно-христианское воспитание человека должны иметь первостепенное значение и безусловно подчинять себе всякую специализацию в системе воспитания.

Статья была перепечатана многими периодическими изданиями и, по мнению К. Д. Ушинского (расцвет педагогической деятельности которого пришелся на эту же эпоху), пробудила «спавшую у нас до тех пор педагогическую мысль». Сочувственные отзывы на статью появились в «Современнике» (1856. № 8; 1857. № 6), в «Морском сборнике» откликнулись В. Михайлов, В. И. Даль, П. А. Валуев, И. И. Давыдов и др. Идеи Н. И. Пирогова были подхвачены русской публицистикой и вызвали ряд статей о воспитании. К деятельности Пирогова с большим интересом относился Ф. Достоевский.

#### IV. ОБЩИЙ ХОД НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<sup>21</sup> «В шатре своем он угощает...» — строки из поэмы Пушкина «Полтава», песнь третья.

<sup>22</sup> Севастопольский погром — Крымская кампания 1854—1855 гг., закончившаяся, несмотря на героическое сопротивление русских солдат, взятием Севастополя англо-французскими войсками.

<sup>23</sup> Одно из основных положений магистерской диссертации К. Аксакова состояло в утверждении, что Ломоносов является первым истинно национальным поэтом (см.: Аксаков К. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 1846. С. 62—64, 409—416 и др.).

<sup>24</sup> «Что может собственных Платонов...» — строки из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М. Ломоносова (строфа XXII).

<sup>25</sup> Болтин Иван Никитич (1735—1792) — публицист, автор книги «Примечания на историю древней и нынешней России г. Леклерка» (Т. 1—2, СПб., 1788), в которой он отвергает выдвинутые Леклерком негативные и часто невежественные толкования русской истории. Не отрицая присущих России недостатков, и прежде всего пороков крепостного права, Болтин энергично отстаивал национальное достоинство, способность русского общества к совершенствованию.

<sup>26</sup> *Княжнин* Яков Борисович (1740—1791) — писатель-просветитель, поэт, драматург и переводчик; в ряде его комедий и в трагедии «Вадим Новгородский» звучат социально-критические мотивы.

<sup>27</sup> *Николев* Николай Петрович (1758—1815) — поэт, драматург, не чуждый в своих пьесах социальной критики и политической заостренности.

<sup>28</sup> «... творцу «Критики чистого разума»...» — т. е. немецкому философу И. Канту.

<sup>29</sup> Баллады В. А. Жуковского «Людмила» (1808) и «Светлана» (1812) сюжетно близки балладе немецкого поэта Г. А. Бюргера «Ленора».

<sup>30</sup> «Гречанок Байрона милей...» — строка из стихотворения Пушкина «К Баратынскому» (1826).

<sup>31</sup> В диссертации о Ломоносове К. Аксаков неоднократно сближает поэзию Пушкина с ломоносовской поэзией, видя в том и другом случае образцы полного и богатого выражения национального языка: «Мы у Пушкина видим стих Ломоносова, или, по крайней мере, у обоих видим мы один стих, одного рода» (Аксаков К. Указ. соч. С. 421). В доказательство приводилось стихотворение Пушкина «Чем чаще празднует лицей...» (1831). См. также наши примечания к «Заметкам о Пушкине».

<sup>32</sup> Имеется в виду предисловие Н. П. Огарева к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (Лондон, 1861. Ч.1): «Боль от гнета чиновничества, которое давит даже само себя, обрекая свои низменные ступени на нищенство и пролетариат, нашла свой голос в Некрасове <...> У него все облято одной скорбью, скорбью перед властью чиновника. <...> С этой точки зрения он любит народ, тесным чиновником, и все теснящее возбуждает в нем ненависть <...> Тургенев, истинный художник по объему и силе впечатлительности, преимущественно доканчивал помещичество и брал из жизни светлые образы простолудинов, любя и лелея их. Островский ударил по болячке, до него пропущенной в литературе. — по купеческому быту...» (Огарев Н. Избр. произведения: В 2 т. М., 1956. Т. 2. С. 496—498).

## V. НИГИЛИЗМ. ПРИЧИНЫ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СИЛЫ

<sup>33</sup> Пушкин писал об этом в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1834). Страх отводит соответствующее место из этой статьи в «Бедности нашей литературы» (см. с. 66 настоящего издания).

<sup>34</sup> *Кузен* Виктор (1792—1867) — французский философ-идеалист, убежденный эклектик, пытался сочетать в своих воззрениях идеи сенсуализма, идеализма, скептицизма и мистицизма.

<sup>35</sup> Русский философ и политический мыслитель *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) в «Философических письмах» (1828—1830) высказал глубоко отрицательный взгляд на историю и современное ему состояние России. Причины общественного и духовного упадка Чаадаев видел в отказе России от принципов европейской цивилизации, чему способствовала, по его мнению, изоляционистская политика православия. В отличие от православия, западный католицизм, как считал Чаадаев, был благотворной в общественном и культурном отношении силой.

<sup>36</sup> Левые гегельянцы, или младогегельянцы. — Б. Бауэр, Л. Фейербах, А. Руге и др. — выступили против ортодоксально религиозного истолкования учения Гегеля.

<sup>37</sup> *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма, идеалист и эклектик по своим философским взглядам.

<sup>38</sup> *Фурье* Франсуа Мари Шарль (1772—1837) — французский утопический социалист, давший социально-экономическую критику европейской цивилизации

и выдвинувший проект будущего общества, в котором должна царить экономическая справедливость и социальная гармония.

<sup>39</sup> ...*деятельность Герцена раньше издания «Колокола»* — т. е. до 1857 г.

<sup>40</sup> Над книгой «С того берега» Герцен работал в 1847—1850 гг.; издана в 1850 г.

<sup>41</sup> *Эвдемонизм* — принцип истолкования природы морали и обоснования моральных требований. Ведет свое начало от античных принципов жизнепонимания; основным началом человеческой деятельности полагает стремление к счастью.

## VI. НЕЧТО О ПУШКИНЕ, ГЛАВНОМ СОКРОВИЩЕ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Впервые опубликовано: «Отечественные записки». 1867. № 12.

<sup>42</sup> Имеется в виду книга: *Hugo V. William Shakespeare*. Paris, 1864.

<sup>43</sup> Цитируется статья критика и публициста М. Н. Каткова «Пушкин» (Русский вестник. 1856. № 1), написанная в ту пору, когда Катков занимал умеренно-либеральные позиции, а «Русский вестник» еще не был выразителем охранительной идеологии.

<sup>44</sup> Вероятно, имеется в виду роман «Дым» (который, как и сам Тургенев, критик называет повестью). Страхов сближал «Дым» с «Евгением Онегиным», прежде всего на том основании, что в обоих случаях «рассказана чисто русская история», и считал «Дым» «вещью прекрасной, первостепенной, могущей стать наряду со всем лучшим, что написал Тургенев» (*Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). 4-е изд. Киев, 1901. С.110—111).

<sup>45</sup> *Кохановская* — псевдоним русской писательницы Соханской Надежды Степановны (1823—1884). В творчестве Кохановской главное место занимало изображение народной жизни. Славянофилы ценили в ней единомышленника и талантливого беллетриста. Несмотря на склонность к идеализации народной жизни и некоторый общественный индифферентизм, творчество Кохановской закрепляло демократические традиции в русской литературе.

<sup>46</sup> *Бицын Н.* — псевдоним русского историка и литератора Павлова Николая Михайловича (1836—1906). Он печатался в основном в «Русском вестнике», отдельные статьи публиковались в «Московских ведомостях», «Дне», «Руси», «Русском архиве». Написал несколько исторических повестей, воспоминания, книгу «Наше переходное время» (о реформах 1860—1870 гг., о литературе тех лет, в частности, о творчестве Кохановской). Из последних работ Н. М. Павлова интересна статья «Полемика Каткова с Герценом» (Русское обозрение. 1895. № 5).

<sup>47</sup> Статья К. А. Фарнхагена фон Энзе «*Werke von Alexander Puschkin. Band I-III. St.-P., 1838*» написана по случаю выхода в 1838 г. трехтомного собрания сочинений Пушкина, опубликована в берлинском журнале «*Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*». Русский перевод М. Каткова был помещен в «Отечественных записках» (1839, № 5). В предисловии М. Катков особенно подчеркивал факт высокой оценки Пушкина в авторитетном журнале, основанном самим Гегелем: «Этот журнал издается теперь достойными учениками бессмертного учителя — и в этом журнале выговорено иностранцем полное, торжественное сознание величия нашей родины, произнесена достойная оценка нашего Пушкина. В лице Гегеля подает нам руку Германия, в лице Германии вся Европа и целое человечество» (Отечественные записки. 1839. № 5. С. 4. Прилож.).

В статье, проникнутой искренним уважением к русской нации и ее культуре, Фарнхаген фон Энзе писал, что истинная «поэзия в новейшее время пробилась на свет у русских, и ее чистейшее, могущественнейшее выражение есть Пушкин». Сближая Пушкина с крупнейшими художественными гениями Европы, немецкий критик утверждал: «... это указывает только, с кем можно его сравнивать, а не от

кого должно его производить» (Отечественные записки. 1839. № 5. С. 10, 11. Прилож.).

<sup>48</sup> *Con amore* — с любовью (*ит.*).

<sup>49</sup> «Летопись села Горохина» — название пушкинской повести «История села Горюхина» Страхов приводит по заглавию, данному при первой публикации повести в «Современнике» (1837. № 7).

<sup>50</sup> П. В. Анненков в издании сочинений Пушкина (СПб., 1855), повторяя первое посмертное издание, под общим заглавием «Подражания Данту» поместил стихотворения «В начале жизни школу помню я...» и «И дале мы пошли — и страх обнял меня...». Второе стихотворение разделено на две части, над которыми стоят номера — второй («И дале мы пошли...») и третий («Тогда я демонов увидел черный рой...»). Эти две части и имеет в виду Страхов.

<sup>51</sup> Строки из стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню я...» (1830).

## VII. ВРЕДНЫЙ ХАРАКТЕР НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<sup>52</sup> «Обзор истории славянских литератур» — название книги А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича (СПб., 1865).